



ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

Сильным можно завидовать.
Сильных нельзя задевать.

СИЛЬНЫЕ

Книга I. Пленник железной горы



Сильные

Генри Олди

Пленник железной горы

«Автор»

2016

Олди Г. Л.

Пленник железной горы / Г. Л. Олди — «Автор»,
2016 — (Сильные)

ISBN 978-5-389-02518-9

Тебя зовут Юрюн Уолан, Белый Юноша. Ты родился богатырем. А что? Обычное дело. Не ты первый, не ты последний. Тебе десять лет, и ты бьешь ворону в глаз, а медведя в ухо. Осталось только съездить в Кузню и обзавестись богатырским доспехом. Жизнь прекрасна, впереди – битвы да подвиги. И надо же было завистнику Омогою помянуть вслух твоего брата, о котором ты знать не знаешь, а семья и говорить не хочет! С этой минуты жизнь разлетается вдребезги, а обломки летят в Бездну Смерти, к трем железным колыбелям. Новый роман Г. Л. Олди «Сильные» приглашает читателя в Трехмирье героических сказаний народов Севера, где за ожившими легендами древности встает призрак «теории времени» академика Козырева – живой легенды нашего века.

ISBN 978-5-389-02518-9

© Олди Г. Л., 2016

© Автор, 2016

Содержание

Часть первая	5
Пролог	5
Песня первая	11
1. Хороший стрелок – сердитый стрелок	11
2. У меня лук взрослый	13
3. Дом без равных	15
4. Отец суров, но это отец	16
5. Солнечная Нуралдин-хотун	19
6. Иди сюда, сильный	22
7. Сильные и слабые	24
Песня вторая	28
1. Это к счастью	28
2. Кто рожден – уйдет	30
3. Меньше глаз, меньше слез	34
4. Я бы не плакал!	36
5. Сарын-тойон, Первый Человек	39
6. Скажу: не бойся	41
Песня третья	44
1. Мы едем в Кузню	44
2. Разве ж это брат?	46
3. Ыый-ыйбын! Ай-абытай!	48
4. Всё, что захочешь	51
5. Мастер Кытай работает	53
6. Живые и мертвые	56
7. Наглая я скотина	58
8. Наглая я скотина (продолжение)	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Генри Лайон Олди

Сильные. Книга первая.

Пленник железной горы

*Пусть расширится твоя голова!
Пусть будет стремительным твой полет!*

«Нюргун Боотур Стремительный»¹

Часть первая

Где брат твой, Юрюн?

Пролог

Когда земля треснула, мальчик играл на дудке.

Пальцы шустро бегали по отверстиям. Музыка рождалась сама, с легкостью, можно сказать, небрежностью, которая говорила не столько о таланте, сколько о большом опыте. Опыт не слишком вязался с возрастом мальчика, но рядом не было никого, кто удивился бы такому парадоксу.

Земля треснула в финале второй, подвижной части сонаты. Тальниковая дудка сыпала энергичными акцентированными синкопами, двудольный ритм сменился трехдольным, канон наращивал динамику. Вырезанная сложнее, прихотливей, чем обычные пастушьи тихограйки, дудка обладала вполне приличным диапазоном, и все равно чувствовалось, что маленькому музыканту не хватает возможностей для воплощения замысла. Рискуя точностью исполнения, он придал канону сильный, взволнованный характер – и взгорье, поросшее по краю молодым, сочно-зеленым ельником, раскололось яичной скорлупой. Густая трава по краям разлома мгновенно пожухла, свернулась черными колечками и обратилась в пепел – точь-в-точь волосы в жаре костра. На нижних ветвях елей порыжела хвоя. Те деревья, которым не повезло оказаться слишком близко к трещине, накренились, в судорожном порыве цепляясь корнями за землю. Поблекли, сморщились желтые венчики волчьей сараны – мириады хрупких солнышек увяли, теряя блеск. А разлом ширился, бежал вперед, к луговине и через нее. В нем дышало, дергалось, пульсировало. Так бьется сердце бычка, приносимого в жертву, когда тяжелый и острый нож вспорот животному грудину. От магмы, бурлящей в глубине, от лопающихся вонючих пузырей несло пеклом, гибельной бездной Елю-Чёркёчёх. Стаи птиц взлетели к облакам, подальше от кипящего ада, опираясь на потоки горячего воздуха. Заполошный вороний грай накрыл окрестности до самой реки. В чаще ревом откликнулась медведица, тревожась за потомство.

Мальчик играл на дудке. Подвижная часть сменилась медленной. Сложная мелодия развивалась без пауз, не имея цезур для вдоха, что требовало от исполнителя незаурядного мастерства. К великому сожалению мальчика, он регулярно сбивался, нарушал ритмичность исполнения – и хмурился, мрачнел лицом при каждой ошибке.

Он был слеп. Глаза, плотно закрытые веками, не выглядели впалыми, как часто случается у слепцов. Но зрячий, конечно же, не удержался бы, зрячий обязательно взглянул бы на ужасающий разлом, откуда дышала преисподняя. Дудочник даже не пошевелился сверх необхо-

димого. Верхние веки его казались больше, толще, длиннее обычного, со слабо выраженной чешуйчатой фактурой: кованый металл, струпья коросты. Когда разлом придвинулся вплотную, мальчик задержал веками – от страха? от возбуждения?! – но глаз так и не открыл.

– Вот ведь, – буркнул он, убирая дудку от рта.

И что-то добавил одними губами: похоже, выругался. Голос у мальчика был низкий, неприятный. Дудка звучала не в пример лучше.

– Кэр-буу! – откликнулась трещина. – Кэр-буу!

Над разломом гуляли, танцевали, колыхались от ветра столбы дыма и пара. Что-то вставало из раскаленной сердцевины, но дым, пар, колебания дрожащего воздуха мешали рассмотреть, что именно. Огненный змей? Спрут, обитатель лавы? Черное, красное, хвост хлещет кнутом, щупальца сплетаются на манер бутона – и вновь раскрываются трепещущим цветком. Змей-спрут поднялся выше, заостенел, приобрел форму, обернувшись арангасом – помостом, который принято укреплять в ветвях матерого дерева, а не в земных провалах.

– Кэр-буу!

На арангасе лежал исполин. Устроившись на боку, он подпер несуразно большую голову ладонью размером с теленка. Плоская шапка из железа, битого ржавчиной, сползла исполину на ухо, грозя в любой момент свалиться, рухнуть в пламя Нижнего мира и растечься зыбким ручейком. Шапку украшал шлык из облезлого, когда-то густого меха. В частых проплешинах копошились, пожирая друг дружку, странного вида насекомые. Одеялом гостю служила его же собственная доха из лошадиных шкур. Наваленная грудой, словно курган из павших кобыл и жеребцов, она скрывала очертания громадного тела. Можно было лишь дивиться ясно видимой руке исполина: одно-единственное плечо, растущее не по-людски, раздваивалось в локте, образуя пару жилистых, перевитых синими венами предплечий, каждое из которых украшала когтистая пятерня, способная без труда задушить быка. Так ствол молодой лиственницы расщепляет молния, а изуродованное дерево живет и продолжает расти дальше.

– А-а, буйа-буйа-буйакам!

– Тебе весело? – с кислой миной спросил мальчик.

Исполин подумал.

– Да, – согласился он. – Мне весело.

– А мне нет. Усохни!

– А мне весело.

– Усохни!

– А-а, буйа-дайа-дайакам! Кэр-буу!

Веки мальчика задержались сильнее. Чувствовалось, что дудочник раздражен. На миг даже почудилось, что его верхние веки, чешуйчатые, обманчиво-металлические забра́ла – да, вот-вот они поднимутся, открывая...

Что?

– Сыграй мне, – попросил исполин.

Его собственный глаз, как и плечо, был всего один, разделенный посредине вертикальным зрачком. Сверкая над вдавленной, многократно сломанной переносицей, глаз умильно, по-детски моргал. Так малыши пытаются задобрить строгую мамашу, выклянчивая лакомство.

– Ну сыграй! Плясать хочу.

– Усохни!

– Сыграй!

Разлом вокруг гостя сходиллся, затягивался подживающей раной. Арангас выпустил пару несущих балок, крепко оперся о края трещины. Из-под отвердевшего помоста перестало дымить. Исполин заворочался, едва не сбросив доху вниз, прямоком в ад. С исполином что-то происходило, но судя по выражению лица мальчика, не то, что требовалось. Заворочался и арангас, отблескивая мокрыми досками – нет, живой плотью, голой и скользкой.

– Еще! – велел мальчик.

– А ты не командуй!

– Я не командую, – мальчик прикусил губу. Похоже, он лишь сейчас понял, в чем допустил ошибку. Одевался дудочник как взрослый, считай, почтенный мужчина: кожаные штаны, сапоги, распахной кафтан из оленьей замши, с полосами рысьего меха в два ряда. И злился на себя он по-взрослому: так сердится старик, проигравший внуку словесную схватку. – Я прошу. Слышишь, Уот? Я тебя прошу. У меня от тебя голова болит. Усохни, пожалуйста.

– Я не люблю усыхать.

– А я тебе сыграю.

– А я не люблю.

– А я сыграю.

– А я... Ладно.

Исполин сделался меньше. Вместе с ним уменьшились помост и доха, и шапка со шлыком. С раздвоенной в локте рукой произошли существенные метаморфозы: она задвигалась, приобретая иной, более человеческий вид. Исполин взмахнул обеими новыми руками, облизал вислые губы, фыркнул: такие руки ему не нравились.

Мальчик заиграл веселую мелодию.

– Можешь ведь, когда хочешь, – засмеялся исполин, переставая быть исполином. Он все равно выглядел втрое крупнее взрослого мужчины, но в сравнении с первоначальным обликом это смотрелось приемлемо. Изменилась и речь: повзрослела, будто ребенок, которого ты не видел десять лет. – А я еду, чую: дядя Сарын играет. Дай, думаю, поднимусь, поздороваюсь. Давно не слышал, как ты дудишь. Ты где пропадал?

– В колыбели лежал, – ответил мальчик, ловко закруглив репризу.

Исполин расхохотался:

– В железненькой?

– В железненькой.

– Во второй?

– В третьей.

– В молодой?

– Ты что, слепой? Сам не видишь?

Несмотря на голос, который по-прежнему оставался не слишком приятным, мальчик постарался убрать из вопроса все конфликтные нотки. Ему, с его слухом музыканта, это прекрасно удалось. Даже вопрос «ты что, слепой?», удивительный в устах слепца, прозвучал без насмешки или укола. Впрочем, во время разговора мальчик вел себя как зрячий. Жесты, поворот головы, мимика, лицо, обращенное к собеседнику – можно было поклясться, что дудочник, которого исполин назвал дядей Сарыном, прекрасно видит уродливого любителя плясовых.

Наблюдательный зритель отметил бы связь между нервным тиком, когда мальчик вдруг начинал дергать сомкнутыми веками, и изменением размеров чудовищного гостя. А если к наблюдательности зритель добавил бы толику логики, он сказал бы, что и первое, и второе связывала воедино прочная нить – наличие конфликта в диалоге и поведении маленького и большого.

– Да уж вижу, – хохот клокотал в глотке исполина. – Надолго в Средний мир?

– Навсегда.

– Врешь!

– Уот, ты стал грубияном. Я тебе когда-нибудь лгал?

– Тетя Сабия тоже омолодилась?

– Тоже.

– Хорошенькая стала?

– Красотка. Вот родим девочку, будет тебе невеста.

– Невеста?

Исполин вернул себе все утраченное. Куда там! – стал больше, чем вначале. Он вскочил на арангасе, отчего помост затрясся мелкой дрожью, и пустился в пляс. Музыка? О, музыка сейчас не требовалась Уоту. Доха свалилась с него, и выяснилось, что нога у исполина тоже одна, раздвоенная в колене на две мощных, сильно искривленных голени. Танцевать это не мешало, напротив, Уот двигался с поразительной ловкостью. Кулак бил в ладонь:

– А-а, буйа-буйа-буйакам!

Это напоминало пляску языков пламени в костре. Уот полностью оправдывал свое имя²: вспыльчивый, неистовый, бешеный огонь. Пылал единственный глаз, окруженный буграми жутковатой формы. Длинный язык, трепеща, высунулся вперед на локоть. Сине-зеленый, будто морская вода, язык на конце раздваивался, соответствуя конечностям.

– Кэр-буу! Невеста!

Сарын без одобрения следил за этими проявлениями восторга. Он корил себя, зная, что сболтнул лишнего. С Уотом нельзя было так, без подготовки.

– Усохни, – попросил он.

– А-а, буйа-дайа-дайакам!

– Усохни!

– Кэр-буу!

– Нет, – раздумчиво сказал мальчик. Тальниковая дудка обвиняющим перстом уперлась в гиганта, ликующего все громче. – Не будет тебе невесты. Если ты не любишь усыхать, я не отдам дочь тебе в жены.

– Не люблю! Невеста!

– Вот-вот. Никакой тебе невесты. Ты меня понял?

– Отдай! Невеста!

– Ни за что. Ты должен регулярно усыхать. До самого минимума. Тогда и невеста, и я тебе сыграю.

– Сыграй! Отдай!

– Что для этого нужно сделать?

– Усохнуть? Не люблю...

– Надо, Уот, – мальчик говорил с исполином, как с сопливым балбесом, отстающим в развитии. – Надо каждый день. Три раза в день, лучше четыре. Еще лучше сутки напролет. Продержишься сутки? Бери пример с меня...

– Убью! – предложил Уот. – Убью, заберу. Буду нюхать невесту, буду трогать. Залезать на нее буду.

– Кого ты убьешь?

– Тебя! Убью дядю Сарына!

С минуту слепой дудочник глядел – иначе не скажешь! – на воодушевившегося гиганта. Чувствовалось, что Уоту чрезвычайно нравится его новая идея. Дергать веками мальчик перестал, но именно сейчас складывалось особенно острое впечатление, что глаза Сарына вот-вот откроются.

– Невесты еще нет, – наконец объяснил он. – Убитый, я не смогу зачать невесту.

– Да! – огорчился Уот.

– Усыхай, я расскажу тебе дальше.

– Расскажешь?

– Да. И сыграю.

– Ладно...

² Уот – огонь.

Кряхтя с натугой, словно бедняга, страдающий запором, исполин превратился в человека. Ну, почти человека. В первый раз он усыхал в гораздо меньшей степени. Арангас сейчас был ему чрезвычайно велик.

– Когда еще все это будет, – улыбнулся Уот. – Ты себя видел? Тебе не детей делать, тебе соску сосать. А тетя Сабия, небось, еще младше... Сбой системы?

– Нет, все по заказу.

– Ну и ладушки. Кто мне обещал сыграть?

– Плясовую?

– Без разницы. На твой вкус.

Он или забыл, что минутой раньше собирался прикончить дядю Сарына, отбирая силой нерожденную невесту, или не придавал этому значения, как взрослый игнорирует угрозы малыша. Тот факт, что и взрослый, и малыш составляли одного Уота, та странность, что малыш выглядел богатырем, а взрослый проигрывал ему по всем статьям – это беспокоило подземного гостя не больше, чем случайно подлетевший комар.

Рука, раздвоенная в плече. Нога, раздвоенная в колене. Язык, раздвоенный на конце. Вероятно, этот принцип касался не только тела, но и рассудка.

Желая закрепить успех, отблагодарить Уота за достойное усыхание – так дрессировщик поощряет медведя-плясуна кусочком печенья – мальчик поднес дудку к губам. Но сыграть ему не дали: за рекой, за синими хребтами гор, окружавших долину, гроыхнуло вдвое страшнее, чем при явлении Уота. Что-то упало ниже земли, прямоком в утробу мироздания, и превратило окрестности в детскую погремушку, набитую камешками.

В небе, над стаями кричащих птиц, кружился белый стерх. Слишком крупный для обычного журавля, он был скорее взволнован, чем испуган. Небо за стерхом трескалось, шло извилистыми щелями. В щели лезла пена облаков, густо подкрашенная брусничным соком.

– Не знаю, – ответил Уот на молчаливый вопрос. – Это не наши.

Судя по внешности недавнего великана, оставшейся без изменений, Уоту стоило колоссального труда не вернуться к прежнему ужасающему облику. Пожалуй, это был подвиг, сохранивший исполина способность рассуждать связно.

– Колыбель, – пробормотал Сарын. – Кто-то упал в колыбель.

– Третью?

– Вторую.

– Да ну! Кого-то переделывают?

– Ты не знаешь, и я не знаю. Я давно здесь, в Среднем.

– А я давно там, – Уот указал на арангас, подразумевая разлом тверди. – Ничего, я выясню.

– Не надо. Ты расширишься и забудешь.

– Не забуду, – без особой уверенности пообещал Уот. – Я не забуду, дядя Сарын. Я спущусь, посмотрю.

– Все, проехали. Не наше дело. Как отец?

– Спит.

Заговорив об отце, который спит, исполин чуть-чуть вырос.

– Часто спит?

– Все время.

Исполин вырос еще чуть-чуть. И еще.

– Ты его буди, хорошо?

– Я его бужу.

Он рос и рос, быстро возвращаясь в исходное состояние.

– Чаще буди! – мальчик торопился, видя, что скоро его перестанут понимать, а может быть, и слушать. – Чаще!

– Бу-у-у! – взревел развеселившийся Уот. – Бужу, да! Беру рогатину...

– Зачем рогатину?

– Надо! Рогатину в семь сажений! Меня верхние адьяраи научили! Беру и всаживаю – под ребра! Кэр-буу! Раз, и под ребра! Он как завопит! Как вскинется! А я бежать! Хыы-хыык! Гыы-гыык! Потеха! Пусть на мамку кричит, пусть лупит...

– Пусть, – со вздохом согласился мальчик. – Рогатина? Прекрасная идея. Ты, главное, буди. Ему нельзя все время спать, пропадет. Не добудимся.

– Спускайся к нам, дядя Сарын! Дам тебе рогатину!

– Спасибо, Уот. Лучше ты ко мне.

– Лучше ты! Вот спроси, зачем? Спроси!

– Зачем?

– Земляное Пузо будить! В две рогатины!

– Нехорошо так о родном отце...

– Хорошо!

– Ну, значит, хорошо. Тебя не переспоришь.

– А-а, буйа-буйа-буйакам!

Позже, когда разлом затянулся окончательно, мальчик, который не был мальчиком, еще с полчаса поиграл на дудке. Затем он встал и пошел домой: в насмерть перепуганный грохотом поселок – и первым, сопровождавшим приход Уота из-под земли, и вторым, ознаменовавшим чье-то падение с небес. Следовало успокоить людей, вернуть им уверенность в завтрашнем дне. До истории, которая произойдет с другим мальчиком – вне сомнения, мальчиком, и никем иным – оставалось без малого двадцать лет. Но дудочник знал: когда Юрюн Артойон, Белый Владыка, создавал время, он создал его достаточно. Еще он знал, что если кто-то и создал время, так уж никак не Юрюн-тойон. Впрочем, вступать по этому поводу в дискуссии Сарын-тойон, больше известный как Первый Человек, не собирался.

Песня первая

*Смотри, будь примером людям во всем,
Будь прямым, как стрела
О трех остриях!
Будь прославленным, смелым бойцом,
Как острога о восьми остриях...*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Хороший стрелок – сердитый стрелок

– В колоду неинтересно.

Кустур опустил лук и почесал кончик носа. Он всегда так делает, когда думает. Или когда не знает, чего хочет. А случается, просто так чешет.

– Давай подальше отойдем, – предложил я. – Только стрелы сначала вытащим.

– Ну-у, давай...

Со стрелами пришлось повозиться: засели, гады, хоть зубами тяни. Кустур достал ножик, принялся расковыривать сухое дерево.

– Хорошие наконечники! Если они в деревяшку так входят...

– А то! – воспрял Кустур. – С такими хоть на волка, хоть на рысь...

– Отец не заругается?

Отец Кустура – кузнец. Нам вообще-то железные наконечники на стрелы ставить нельзя. Железные – для взрослых боотуров³ и охотников. Но когда Кустур разжал ладонь, и на ней звякнула-блеснула целая дюжина – смотри, чего принес! – разве ж можно было отказаться?

– Не заругается, – рот Кустура расползся в улыбке до ушей. Того и гляди, щеки треснут. – Ты мне верь, я честный-пречестный.

– Он что, разрешил?!

– Разрешил, да не он! Я их сам отлил! И заточил.

Похоже, не врет. Вон, от гордости чуть не лопается. Ну и правильно! Если сам сделал – есть, чем гордиться.

– Здрово!

– Нож видишь? Тоже сам ковал.

Нож, честно говоря, у Кустура дрянь дрянью. Зато своими руками кованый! Отец его третий год учит. Вырастет – тоже кузнецом станет. Старики рассказывали, отец Кустура – кузнец в восьмом колене. А Кустур будет – в девятом. В девятом колене можно великим мастером стать, каких и земля не знала, и небеса не видывали. С другой стороны, род – родом, колено – коленом, а учиться все равно надо. Еще как! Всех чему-то учат, кроме меня. Ты, Юрюнчик, сын Сиэр-тойона! Тебе, Юрюнчику, отроду все дано. Не надо тебе ничему учиться! Вот съездишь в Кузню, солнце наше, все узнаешь-сумеешь...

Я им что, наконечник? Ножик?!

– Давай с того пригорка?

– Далеко-о... А, ладно, давай!

Я оттянул тетиву до самого уха. С презрительным фырчаньем стрела вспорола листву и исчезла в зарослях орешника. На целых два кулака выше! Ну вот, теперь стрелу искать...

³ Боотур – богатырь. В другом значении – специально обученный воин-профессионал, дружинник.

– Кырык⁴!

Кустур победно вскинул лук над головой: его стрела глубоко вонзилась в верхний край искромсанной колоды. Вот вам и «отроду»! Вот вам и «дано»! Вот вам и сын Сиэр-тойона, которому учиться – зря время тратить...

Позорище косорукое! Слепыш землеройный!

Я давно заметил: если сержусь, все начинает получаться. Сердиться лучше на кого-нибудь. Еще лучше – с оружием в руках. Жаль, на Кустура злиться не за что, а больше рядом никого нет. Остается ругать самого себя. Тоже помогает, но не так хорошо. Вот, уже лучше: попал. Правда, в самый краешек...

– Кырык! Кырык! Смерть тебе, подлый адьярай!

Говорят, у злобных выходцев из Нижнего мира рожи на пеньки похожи. Если так, тогда да: колода – в точности башка адьярая. И вся стрелами утыкана. Кустур молодец: ни разу не промазал.

– Ворона!

– Где?

– Вон...

– Ага, вижу.

У Кустура стрелы кончились. Пока будет за ними бегать, ворона улетит. А у меня одна осталась.

– Далеко, не попадешь.

– А я и не собирался! Зря птиц бить Бай-Баянай не велит.

– Ха! Станет Бай-Баянай ворон считать! Других забот у Хозяина Охоты нет! Если стрелять не собирался, чего лук поднял?

И правда, чего это я? Даже не заметил, как стрелу на тетиву наложил. Далеко, прав Кустур. Промажу. Я и в колоду-то не очень, а тут... Добить бы до осины, где ворона сидит – уже подвиг!

– Ну, поднял. А потом про Бай-Баяная вспомнил.

– Ври больше!

– Это я вру?!

– Сам знаешь: не попадешь! Вот и припел Хозяина Охоты.

Жарко. Уши – раскаленные головешки. Щеки – груды рдеющих угольев. Со мной всегда так. Если совру, краснею хуже девчонки, и в жар бросает. А уж если уличат во лжи, тогда совсем – костром горю, ярким пламенем. Меня один раз водой окатили: остынь, дурачина! В шутку, значит. Я не обиделся, смеялся вместе со всеми. Нет, честно, не обиделся! Ну, может, чуть-чуть... Не умею, не умею я врать!

– Дай стрелу, а? Я не промажу!

Ворона каркнула с презрением. И еще каркнула. И еще. Ее карканье сожрало все звуки. Журчанье ручья, шелест листьев, щебет других пичуг – все-все, без остаточка. Пошло гулять эхо над аласом⁵: от темной стены сосен за ручьем до крайних юрт на взгорке. Кар-кар-кар! Известное дело, воробы беду приносят. Сейчас ка-ак накаркает!

– Юрюн, дай стрелу! Ты все равно промажешь...

Я промажу?!

В глаз угодила соринка. Я моргнул, соринка исчезла, а ворона вдруг оказалась близко-близко. Хоть пальцем в нее тыкай! Вся нахохленная, будто мерзнет: перья встопорщены, глаз косит со злобой. Птица переступила с лапы на лапу, и черная бусина глаза уставилась прямо

⁴ Победный выкрик. Аналог «ура!» в военной обстановке.

⁵ Алас – луг или поле, окруженные лесистыми горами; долина, окруженная лесом.

на меня. Клов начал медленно раскрываться... Беду пророчить вздумала? Не успеешь, горевестница!

Плохая ворона. Плохая ворона.

Очень плохая ворона.

– Юрюн...

Возле уха мягко прошелестела тетива. Стрела ушла в полет. Будто что-то почувствовав, ворона заполошно взмахнула крыльями, спеша сняться с ветки. Но я знал: я не промахнулся.

Знал, и всё.

2. У меня лук взрослый

– Ну ты даешь! Прямо в глаз!

Кустур все продолжал восторгаться, никак не мог успокоиться. Приятно, когда тебя хвалят! И стыдно чуть-чуть. Кустур сегодня тоже хорошо стрелял.

– Ты бы и сам попал. Просто у тебя стрелы кончились.

– Ну... Наверное.

– Точно говорю, попал бы.

– Только не в глаз! Так один Дюлустан-боотур умеет!

– Еще Манчары-охотник.

– Да, Манчары может. Манчары, Дюлустан и ты!

Ворону я закопал под осиной. Не в суп же ее класть? Хотя Кустур ругался, кричал: в суп, в суп! Гляди, мол, какая жирная! Его мама из ворон такую вкуснятину готовит: пальчики оближешь! Мучицы туда, дикого лучка, маслица топленого... Цыц, велел я. Кто убил, тот и закопал. Кустур бухтел, злобился, а я попросил прощения у вороньего духа: пусть не сердится на меня. И у Бай-Баяная, Хозяина Охоты, попросил. Верных слов я не знал – меня ведь ничему не учат! – но сказал от души. Сестра говорит: слова – не главное. Главное – голос сердца. Голос сердца любой дух услышит. Потом я вымыл стрелу и руки в ручье, ниже того места, где женщины воду берут. Вроде, ничего не забыл.

Пока мы собирали стрелы, Кустур чесал нос без перерыва. Думал о чем-то, морщил лоб. Губы кусал, аж до крови.

– У тебя лук взрослый, – выдал он наконец.

– Ну да, взрослый...

До двенадцати весен взрослые луки нам запретны. И железные наконечники на стрелы. И еще много чего. Что кому положено, а что нет, я хорошо знаю, пусть меня и не учат. Будешь тут знать, если твой отец – Сизр-тойон, Закон-Владыка!

– Охотничий у тебя лук. Настоящий.

– Ну да.

– Как у Манчары.

– Ну да.

Надоело мне нудакать. Повернулся я к Кустуру:

– И что?

Табунщик Ивачан мне сперва детский лук смастерил – он всем мальчишкам луки делает. Он смастерил, а я сломал. Разозлился, что мажу все время, натянул со всей дури... Тетиву порвал. Ивачан головой покачал и двойную мне поставил, крученую. Из сырой бычьей кожи. Я через пару дней опять рассердился – лук треснул. Тогда Манчары мне настоящий сделал, охотничий, как у него самого. Из лиственницы и березы, а рога костяные. Ну, не совсем костяные, с дощечками-держакими.

Я думал, меня ругать будут. Нет, никто не ругал, ни за тетиву, ни за лук. Старший брат Мюльдюн-бёгё⁶ объяснил: это я *расширяюсь*. Сила боотурская во мне просыпается – врожденная, семейная. Мол, так и должно быть. За что ругать? Вот съезжу в Кузню, обзаведусь доспехом-оружием, войду в полную силу, стану настоящим боотуром – и все у меня наладится. Если и буду рвать-ломать, так только нужное, правильное. Врагов, например. А пока...

– Вот ты и попал!

– Потому что у меня лук охотничий?

– Ага!

Ага, на лбу рога! Кто только что сам говорил: всего двое могут? Дюлустан-боотур и Манчары-охотник?! Луки-то хорошие у многих, а воробу в глаз, да с пригорка...

Хотел я сказать это Кустуру, посмотрел на него – и прикусил язык. Он же не виноват, что у него отец – кузнец Тимир, а у меня – Сиэр-тойон. Я-то уже понял: я когда моргнул – разозлился. Значит, *расширился*. Как в песне поется: «Пусть расширится твоя голова! Пусть будет стремительным твой полет!» Кустур так не умеет. У него голова если расширится, сразу же лопнет. И никто в нашем улусе⁷ не умеет. Только моя семья. Ну, еще другие, вроде нас – айыы.

Есть люди, а есть айыы. Обычное дело.

– Пузо скулит, – вздохнул Кустур. – Пожевать бы чего, а?

– Беги домой, жуй!

– Рано еще. Мать заругается.

Он скорчил потешную рожу, затянул высоким женским голосом:

– Вот вся семья за стол сядет, тогда и приходи, проглот!

– Пошли ко мне! Моя не заругается.

– Врешь!

– Да ну тебя! У нее всегда сливки свежие есть...

– Сливки? – Кустур оживился. – Взбитые?

– Ну!

– С мукой?

– Ну!

– С брусничкой?

– С малинкой! С шикшей! Со всем на свете!

– А точно не заругается?

– Точно!

– Тогда пошли! Побежали!

И мы пошли. Мы побежали – наперегонки. В итоге вышла ничья: оба запыхались и снова перешли на шаг. «Из такого лука конечно!.. Из такого лука и горбун попадет, и калека... – бормотал по дороге Кустур. – И безрукий попадет...» Сам себя убеждал, что ли? Я молчал. Ну да, завидует. Что же мне теперь, нарочно промахиваться, чтоб он не завидовал? Вот вернусь из Кузни, привезу настоящий боевой лук, а этот Кустуру подарю. Точно, подарю!

Пусть радуется!

Мы поприветствовали табунщика Ивачана. Теперь нескоро его увидим: завтра ему гнать лошадей в предгорья, там трава сочнее. Миновали обширное утоптанное поле-тюсюльгэ, где собираются на празднества и сходы. Обогнули две дюжины юрт – нарядных, обмазанных свежей белой глиной – и выбрались к нашему дому.

К дому Сиэр-тойона, моего отца.

– Все потому, что у тебя лук охотничий, – сказал Кустур. Он снова улыбался: не умел долго сердиться. – А еще потому, что у тебя отец – бог.

⁶ Бёгё – силач. В другом значении – воин-профессионал, происходящий из воинского рода.

⁷ Улус – люди, народ, племя. В данном случае – поселок, стойбище.

3. Дом без равных

– Ну, бог. И что теперь?

Я разозлился на Кустура. Зачем повторять то, что все и так знают? Кустур открыл рот, подумал немного – и закрыл. Не нашелся, что ответить. Наверное, нос почесать забыл. Я полюбовался его растерянностью, и вся злость прошла.

– Пошли! Ты же есть хотел!

– Ничего теперь, – с опозданием откликнулся он.

– Идем, говорю!

– Я лучше тут постою...

Он стоял и глазел на наш дом, будто видел его впервые. Вот так всегда! По десять раз на дню мимо ходят, ездят, бегут, ковыляют – и хоть бы хны. Мазнут взглядом и дальше топают, по своим делам. А стоит кому во двор зайти – хоть мальчишке, хоть взрослому – встанут столбом и глазют, пока не окликнешь.

Наш дом в улусе один такой. У всех – юрты: бревна, жерди, прутья – каркас. Все это глиной замазывают, с сеной трухой и коровьим навозом. На зиму дерном утепляют. По весне – белой глиной кроют, для красоты. Внутри – камелек, лавки, котлы-посуда. Занавески для женской половины. Улус у нас дружный, если стройка, все соседи на подмогу спешат. Два-три дня – и готова новая юрта. Пожалуйте справлять новоселье!

А у нас – дом. Комнат внутри – тьма тьмущая! Заблудиться можно. Говорят, девяносто сажен в длину. Я не мерял, но согласен. Опорные столбы – из лиственницы, самой лучшей. В наших лесах эти лиственницы не растут. Небось, издалека привезли, с Верхнего Неба. Снаружи дом на солнце так и сияет – глазам больно. Дедушка Сэркен Сэсен приезжал, на сходе пел:

Силою исполинов-творцов
Сотворенно построен был
Тринадцатистенный дом
Из цельного серебра,
Полный всяческого добра;
Сверкая кровлею золотой,
На девяносто сажен в длину
Раскинулся этот дом;
Девяносто окон больших
Прорублено в доме том,
Равного которому нет...

Я думал, он про наш дом поет. Все верно описал: и стены из серебра, и крыша золотая, и всяческое добро. У нас в доме много всякого-разного, ни у кого больше нет. Стен, правда, не тринадцать, но это ерунда. А оказалось, он про дом Первых Людей поет, в Среднем мире. Ну, и что тогда значит: «равного которому нет»? А наш дом?

Мне даже обидно стало!

Много позже я узнал, что таких домов не один и не два. Они и впрямь похожи друг на друга, как капли воды. Типовые, объяснила сестра. Она у меня шаманка-удаганка, все что хочешь, объяснит. Дедушка Сэркен и про нее пел: «Заклинательница восьми небес, врачевательница девяти небес...» А чудо-лиственница, что пошла на столбы – никакая не лиственница. Это вообще не дерево. И камень, из которого порог сложен – не камень. И золото-серебро... Стоп! Золото-серебро – это да, золото и серебро. Но только сверху, тонким слоем. Для красоты и солидности. На деле же под золотом и серебром – совсем другой металл.

И добро б только металл! Тринадцать разных слоев – не зря дедушка Сэркен «тринадцать стен» помянул. Зачем столько – мне сестра тоже объяснила. Я вроде бы понял, но это очень сложно. И долго рассказывать. Короче, чтобы каждый сразу видел: здесь живут солнечные айыы! Чтобы проникался уважением, а еще лучше, благоговением. Они и проникались, в точности как Кустур: тарасились, будто суслики на курганчиках.

– Кустур, отомри!

Я тряхнул приятеля за плечо и чуточку перестарался. Кустур отмер, охнул, заморгал, будто спросонья.

– Пошли в дом, говорю! Есть будем.

– Не-а...

– Я тебе обещал!

– Не, Юрюн, я лучше тут подожду. Во дворе. Ты мне сюда еду вынеси, хорошо? А то солнечная Нуралдин-хотун заругается!

– Я же сказал: не заругается!

– За еду – нет. А за то, что я в дом суюсь – еще как!

Прав Кустур. Совсем из головы вылетело: мама не любит, когда к нам люди из улуса заходят. В смысле, обычные люди, не айыы. Кроме слуг, понятное дело. Ну, или тех, кого отец пригласил. Но он редко кого-то приглашает. Мы всех любим, говорит мама, но снаружи. А мне звать гостей не положено. Может, после Кузни...

– Ладно, жди здесь. Я быстро!

– Сливки вынеси! – ударило в спину.

– Вынесу!

Порог у нас высокий, дверь – тяжеленная, кованая. Если кто чужой сунется – с места не сдвинет, будь он хоть трижды боотур! Начни адьярай ломиться, башку расшибет. А я ее одним пальцем открываю. Думаете, я такой сильный? Нет, это просто наш дом.

Дом меня знает.

4. Отец суров, но это отец

– Папа, ты занят?

Отец не ответил. Закинув ноги на перила, он сидел на задней, особенной веранде дома, где кроме него не разрешалось сидеть никому – только если папа позволит! – и смотрел на горы. Сколько себя помню, он всегда смотрел на горы. В любую погоду. Далекие синие хребты – Сиэр-тойон мог любоваться ими бесконечно. Открытые взору в солнечные дни, затянутые дымкой по утрам, утонувшие в дожде, пурге, тумане, набросившие на плечи искристую снежную порошу – горы, горы, горы. Словно там, за ними, крылось счастье – желанное, недостижимое.

– Ты занят?

Думаете, я сразу на кухню побежал? За сливками? Нет, я сперва к папе. Кустур подождет, ничего. Не помрет же он с голоду, правда? А я знаете сколько ждал, пока папа на веранду выйдет? Иначе мне его не поймать, чтобы с глазу на глаз. Сплю я плохо, вот что. Пакость разная снится, и всё про меня. Ну да, боюсь. Беспокоюсь. Стыдно признаться, по три раза за ночь по нужде бегаю – вот как переживаю, словно маленький. Загрохочет где – бац, душа в пятки. Это, наверное, Мюльдюн вернулся, сейчас скажет: «Одевайся, пора...»

– Если ты занят, я...

Ну конечно, он не был занят. Когда Закон-Владыка бывал занят, это слышал весь дом. Я спрашивал так, для приличия. Отец пошевелился, плотнее укутал ноги дохой из темного, почти черного соболя. Доху подарила ему мама на день рождения. Отец всегда мерз, даже

в лютую, по моему мнению, жару. Мерз он странно: снизу. Носил ровдужные⁸ штаны на подкладке, набрюшник из седого бобра, кожаные ноговицы, поверх – суконные чулки, и все равно при первой же возможности мой любимый папа устраивал ногам парную.

Торс и плечи у отца были равнодушны к морозу и сырости. А шапку он снимал и клал рядом. Когда-то я пошутил на этот счет – не помню, как именно, но неудачно – получил от мамы такую таску, какой сроду не огребал, и завязал с шутками в папин адрес.

Протянув руку, отец взял чорон – его личный резной кубок для кумыса – не торопясь сделал пару глотков, вернул чорон на столик и благодушно ответил:

– Рад тебя видеть, Юрюн.

Меня он не видел, продолжая созерцать горы. Но я привык. Благодушие отца, его ослабленность, его лавка со спинкой в виде – да-да, вы поняли! – горного хребта, его чорон, его бурдюк с кумысом, который мама время от времени меняла на полный, его одежда – об ином отце я и не мечтал. Поведение, которое иные сочли бы равнодушием – меня все устраивало.

Сейчас, много лет спустя, я задумываюсь: почему? Как же так? Ведь была тысяча поводов обидеться насмерть. И отвечаю сам себе: любовь. Я любил отца такого, какой он есть, вот и вся разгадка.

– К тебе можно?

– Можно.

Я прилежался на крохотной лавчонке, стоявшей невдалеке от бочка у отца. Долил из бурдюка в чорон – отцу нравилось, когда за ним ухаживают. Полюбовался пенной шапкой, вдохнул резкий запах кумыса. Нести новый бурдюк было рано.

– Я скоро поеду в Кузю. Да, папа?

– Скоро, – согласился отец.

– С Мюльдюном?

– С Мюльдюном.

– А скоро – это когда?

– Когда Мюльдюн соберется.

– А когда он соберется?

– Когда сочтет нужным.

– А когда он сочтет нужным?

– Когда соберется.

В речи отца не было и тени раздражения. Голос его, теплый и бархатистый, обволакивал меня, как одеяло. Хотелось спать. Я чуть-чуть разозлился на самого себя, и сон отбежал прочь.

– Может, завтра? Да, папа?

– Может, завтра.

– А может, послезавтра?

– Может, и так.

– А ты можешь призвать его в улус?

– Могу.

– А ты можешь велеть ему ехать завтра?

– Могу, но не стану этого делать.

– Почему?

– Потому что вы поедете, когда Мюльдюн соберется.

Разговор зашел в тупик. Обычное дело, если вы разговариваете с моим отцом. Ладно, найдем с другого бока. Тем паче, другой бок интересовал меня гораздо больше сроков отъезда. Я просто бесился из-за него. Руки тряслись, честное слово.

⁸ Ровдуга – хорошо выделанная оленья или лосиная шкура.

– А мне в Кузне будут доспех подбирать?

– Не будут.

– Почему? Все говорят, что будут!

Я едва не расплакался. Сизэр-тойон не врал никому и никогда, а уж родному сыну и подавно...

– Не будут, а будет, – отец погрузил усы в кумысную пену. – Будет подбирать. Доспех тебе будет подбирать Кытай Бахсы, хозяин Кузни. В этом деле ему нет помощников.

– И оружие?

– И оружие.

Думаете, я успокоился? Я только подошел к главному.

– А это больно?

– Может, и больно.

– А может, и не больно?

– Может, и не больно.

– Так больно или не больно?!

– Как получится.

Думаю, теперь вы отлично знакомы с моим папой.

– Кустур сказал, что меня в шлем колотушкой забьют.

– Не забьют.

– Точно? Это хорошо.

– Ты сам подумай, – отец устроился поудобнее, хотя казалось, что удобней некуда. – Ты вон какой большой. Как тебя целиком в шлем забить? Ты же не гвоздь? Правильно говорить так: шлем колотушкой насадят на мою голову. Запомнил? Насадят на голову, а не забьют.

Хоть бы улыбнулся, что ли? Я бы тогда знал, что он шутит.

– Ну, насадят. А потом велят: «Да расширится твоя голова!»

– С какой целью? – заинтересовался отец.

– Если шлем лопнет, станут новый подбирать. В смысле, станет.

Совсем я запутался с этим кузнецом.

– А если не лопнет?

– Значит, подобрали. Ищем дальше: кольчуга, панцирь-куях...

– И всякий раз колотушкой? В кольчугу, в панцирь?

– Ну да!

– Так говорит Кустур?

– Ну да!

– Значит, так и будет. Кустур знает, что говорит.

– А ты что скажешь, папа?

– Ничего. Я никогда не был в Кузне. Никогда не подбирал себе доспеха. Откуда мне знать?

– И Мюльдун тебе не рассказывал? Он-то в Кузне бывал!

– Нет, не рассказывал. Зачем?

Действительно, зачем? Мюльдун не из говорливых. Вот по шее надавать, это он запросто.

– Папа, ты...

И тут он вскочил. Сто раз видел, как он вскакивает, забыв обо мне, маме, кумысе, горах, мирах – обо всем на свете. Доха в одну сторону – кэр-буу! Лавка в другую – уо-уо! Столик с кубком – алатан-улатан! «Ох! – жаловалась мама в таких случаях. – Отлетели, оторвались девять журавлиных голов!» Кумыс разлился, потек по струганым доскам. Бурдюк – бряк мне на коленки! Затычка выпала, я изгваздался по самые уши.

– Что?! – заорал мой папа дурным голосом. – Глупости! Чуть собачья! Изобличение вора бывает трех видов...

Это он не мне. Трудно привыкнуть к папиным внезапностям, а дальше ничего, полегче. Главное, сидеть тихо, помалкивать. Когда Сиэр-тойон откликается на чьи-то вызывания, ему не до вас. Он учит, наставляет, решает споры. А что вы думали? Закон-Владыка, понимать надо!

– ...с чужого слова по приметам украденного, своими силами по следам угона – и через много лет без явных доказательств, по доносительству соседа. В первом случае изобличенный вор покрывает убытки владельцу, во втором – подлежит публичному наказанию...

Кулаком по перилам – хрясь!

– ...в третьем – признается вором без покрытия убытков и наказания. Доносителя же... Молчать! Не перебивать! Доносителя порицать не велено, и нареканий ему делать не положено. Что значит «почему»? Ибо есть в таких доносителях великая польза общественная... Великая общественная! Усвоили?

Кажется, там усвоили. Где там? Ну где-где... Где вызвали.

Я однажды спросил у мамы: как же так? Когда папа срывается с места, я пугаюсь, а не расширяюсь! Пугаешься, вместо мамы растолковал Мюльдюн, случившийся рядом. Расширяемся мы, когда злимся. Соперничаем. Схватываемся. А отцу ты не соперник и не поединщик. Вот если бы ты отцу ночью, когда он спит, рогатину под ребра... И замолчал. Так я и не понял, что Мюльдюн имел в виду.

– Я суров, – сказал отец.

И вернулся на лавку. Ну, почти вернулся. Посмотрел с укором на меня: где лавка? Я поднял, обмахнул рукавом, пододвинул. Отец сел и устался на горы. Чувствовалось, что он очень устал. Я же стал прибираться: бурдюк, затычка, чорон. К счастью, кубок не треснул. Доха – папе на колени. Укутать потеплее, подоткнуть с краев. Папа забросил ноги на перила – значит, укутать и подоткнуть снова. Налить в чорон остатки кумыса. Помалкивать, не шуршать.

– Я суров, – повторил отец, успокаиваясь. – Я суров, но это я.

Он всегда так говорил после увещаний.

Сейчас, много лет спустя, когда все рухнуло и восстало вновь, и кто-то умер, а кто-то – нет, я понимаю, что отец был прав. Я, Юрюн Уолан, Белый Юноша, названный в честь своего дяди Юрюна Ар-тойона, Белого Владыки, уже давно не юноша, а если и белый, то речь идет о цвете волос. Что знал я про Кузню? Про кузнеца Кытая? Ну, железный дом на ледяном кургане. Наковальня размером с быка, горн – с кобылу. Черен молота – старая коновязь. Молот гремит, клещи визжат, напильник скрежещет. А что? Все так говорили. Никто не видел, но болтали наперебой. Мюльдюн видел, но молчал. Папа не видел и тоже молчал. Обычай требовал, чтобы такие, как я – боотуры по рождению, не по воспитанию – ехали в Кузню, не догадываясь, что их ждет, кто их ждет. Значит, Сиэр-тойон – Закон-Владыка, Обычай-Батюшка – вел себя по отношению к сыну не только сурово, мучая мальчишку неизвестностью, но и справедливо.

Выясни я, что меня ждет на самом деле, и отец, пожалуй, запретил бы мне эту поездку. Мои слишком любопытные сверстники, удовлетворив свое любопытство заранее, не возвращались из Кузни домой. А что? Молот гремит, клещи визжат, напильник скрежещет.

Обычное дело.

5. Солнечная Нураддин-хотун

– Мам, я поесть возьму! Себе и Кустуру.

На кухне мамы нет. Это пустяки, она меня всегда слышит – где бы ни была, хоть за восемь комнат. Сейчас придет. Я, если что, и сам все найду, но лучше спросить. Сын своего отца, я должен вести себя правильно. Все должны вести себя правильно. Тогда в мире все будет хорошо и радостно, как у нас в улусе. Вот адьярай – они злые, глупые. Они законы нарушают,

оттого и беды кругом. И у них, и вообще. У нас в улусе адьяраев нет, потому и бед никаких нет. В смысле, настоящих бед, больших. О них дедушка Сэркен поет: война, набег, буря-ураган.

Мы живем на юге Седьмого Неба. Здесь все слушаются моего отца. Поэтому у нас всё хорошо. Ну, по крайней мере, сколько я себя помню.

От очага-камелка шел ощутимый жар. На железной заслонке мигали разноцветные огоньки. За ней булькало, шелкало, шипело. Вкусно пахло вареным мясом. У меня забурчало в животе: оказывается, я тоже проголодался. На полках ровными рядами выстроились кубки, плошки, серебряные горшки и мисы. Еще два бокастых котелка-самовара. Один, правда, поломался, больше не варит. А второй ничего, работает.

Везде чистота и порядок: моя мама – самая лучшая хозяйка на Небесах! И вообще, на всей Осьмикрайней. Я, правда, кроме наших Небес, нигде не бывал, но иначе и быть не может! Ага, вот и сливки. А что у нас здесь?..

Мама не вошла – всплыла в кухню, как уточка по водной глади. Ох, она и ходит – залюбуешься! Спокойная, добрая, никогда никуда не торопится – и всегда всё успевает. Тихая, светлая радость; солнечная Нуралдин-хотун.

– Мам, я...

– Я слышала, Юрюнчик. Ты растешь, тебе нужно хорошо питаться. Я рада, что ты сам это понимаешь.

Ничего я не понимаю. Но зачем спорить с мамой? Может, я и правда понимаю – только не головой, а желудком.

– Да, мам. И Кустур тоже растет.

– Как раз горяченькое поспело.

– Кустуру тоже надо!

– Садись за стол.

Про Кустура мама слышала – она все отлично слышит. Просто не обратила внимания. Нет, вы не подумайте, ей еды не жалко. Для мамы главное – наша семья. Чтобы мы были сыты и ни в чем не нуждались. Чтобы у нас – у папы, у меня с Мюльдюном, у маленькой Айталын Куо – всё хорошо было. А то, что нас напрямую не касается, для нее значения не имеет. Оно словно мимо по реке проплывает. Глянула краем глаза – плывет, к примеру, коряга; отвернулась и забыла. Зато ты и подумать не успеешь о новых сапогах – хлоп, а они уже тут как тут: на волчьем меху, на двойной подошве, и точно по ноге.

Ну, вы уже поняли, какая у меня мама.

– Спасибо, мам! Я тебя люблю!

Мама и раньше-то светила, а сейчас прямо расцвела. От ее улыбки сделалось тепло-тепло, и уголки рта сами к ушам поползли: улыбнуться в ответ.

– Я все съем! И горячее, и сливки... У тебя есть сливки?

Сливки я уже нашел. Но лишний раз спросить – маме приятно будет.

– Конечно, Юрюнчик. Кушай на здоровье. Сейчас на стол поставлю.

– Да, мам! Только на сандалы... На стол не надо, хорошо?

У нас, в смысле, у айбы, некоторые вещи иначе называют, чем в улусе. Сандалы у нас – стол, орон – ложе или кровать; чомпо – палица, а еще колотушка... Я иногда путаюсь: то так скажу, то эдак. Случается, оба слова вместе вылетают. Приятели удивлялись. Чагыл смеяться пробовал, но ему по шее и без меня дали. Ничего, привыкли.

– Почему не надо на стол, Юрюнчик?

– Меня Кустур во дворе ждет. Нам на двоих, мам.

– Я Элляя кликну, он на двор вынесет. А ты за стол садись.

Элляй – это наш слуга. Один из восьми.

– Не надо Элляя! Я сам отнесу.

– Зачем?

– Я тоже во дворе буду. Ты говорила: на свежем воздухе – полезней!

– Всё-то ты помнишь, – умилилась мама. – Ладно, поешь во дворе. Сливки бери, и кэйгэс печеный, и вот еще – с пылу с жару.

Внутри камелька звонко шелкнуло. Огоньки на заслонке погасли. Остался один, зеленый светлячок. Теплился, извещал: мясо готово. Заслонка поднялась, наружу выехал котел из легкого серебра. От него шел такой аромат, что я чуть слюной не захлебнулся. Да уж, мама – мастерица стряпать! Правда, когда на живом костре мясо варишь, в котле, или на углях запекаешь – оно тоже вкусно выходит. По-другому; и веселее, на костре-то.

– Осторожно, не обожгись.

– Ага!

– Вот, я тебе на поднос выставила. Я дверь открою, а то у тебя руки заняты. Ложки не забыл? Приятного аппетита, кушай на здоровье.

Того, что мама выдала мне одному – про Кустура она, разумеется, забыла – хватило бы четырех голодных табунщиков до смерти накормить. Мы с Кустуром не табунщики, мы сами все съели. Чуть не лопнули, а съели. Конинка молоденькая, с жирком, с лучком-чесночком, прямо с огня! Печеные корешки кэйгэса – и сливками, сливками запить, холодненькими! Чуп-чуп, уруй-туску! И куда в нас только влезло? Мы сидели, пыхтели, отдувались, и казались себе толстыми-претолстыми, как лесные дедуганы, нагулявшие жир к зиме. Вставать? – шевелиться не хотелось.

– Передай – ик! – солнечной Нуралдин-хотун... Ик! – нижайшую благодарность! Она – опора Трех – ик! – Трех Миров! Если что сковать-починить – ик-хыхык! – нужно...

Сказать Кустуру про испортившийся котелок-самовар? Да ну, глупости. Во-первых, всё равно не починит. И отец его не починит. Вот станет Кустур великим мастером в девятом колене – тогда, может быть... А во-вторых, родители о наших вещах, которые в доме, рассказывать не велят. Это чтоб не завидовали, я так думаю.

– Вот сам – ик! – и поблагодари.

– Меня не приглашали. А солнечная Нуралдин-хотун ко мне не выйдет...

– Хорошо, я передам...

– Юрюн! Кустур! Айда в кылыы⁹ прыгать!

За оградой по-заячьи скакал Чагыл – то ли разминался для игры, то ли просто от нетерпения. Ну да, мы с Кустуром сейчас много напрыгаем! Все смеяться будут.

– Иди, мы догоним!

Миг – и Чагыла и след простыл. Догоним мы его, как же!

– Пошли?

Кустур был уже на ногах. И приплясывал бодрей бодрого, словно натошак.

– А тебе в кузню к отцу не надо?

Честно говоря, я бы поспал.

– Не-а! Отец для шамана Арамана секрет делает.

– Какой секрет?

– Не сказал. Меня погнало: мол, в кузне сегодня не появляйся. Тебе на секрет даже смотреть нельзя!

Кузня, подумал я. Скоро Кузня.

Вдоль хребта побежали мурашки: щекотно, сладко, страшно.

⁹ Игра, прыжки на одной ноге вдоль двенадцати меток.

6. Иди сюда, сильный

Устраивать состязания на туюсьгэ можно только по праздникам. Но мы нашли участок с краю, где трава была почти что не вытоптана: вроде еще и поле, а вроде уже и нет. Место ровное, подходящее. Старшие, помнится, головами качали, сомневались: разрешить или нет? Хотели у моего отца спросить, но раздумали: Сиэр-тойона по пустякам беспокоить – себе дороже. Теперь мы тут и прыгаем, и боремся, и вообще.

Когда мы с Кустуром притопали, кылы уже шло вовсю. Чагыл брал разгон. У первой вешки-прутика он ловко оттолкнулся левой – Чагыл по ногам левша – и давай скакать кузнечиком! Седьмая, восьмая...

– Ча-гыл! Ча-гыл!

На двенадцатом прыжке Чагыл едва не улетел в небо и гулко впечатался в землю обеими пятками. Покачнувшись, но устоял, победно вскинул руки:

– Кырык!

– Ча-гыл! Ча-гыл!

Распухший от гордости малыш Айан – ему доверили судить состязания – провел заостренной палкой черту на том месте, где стояли пятки Чагыла, и старательно затер предыдущую отметку: на три кулака ближе к последней вешке.

– Ни-кус! Ни-кус!

Никус смешной: на одной ноге скачет, а второй и обеими руками во все стороны машет. Ну вот, домахался: споткнулся. Хорошо, руки успел выставить, а то б носом землю вспахал! Хохоту было – до небес. До Верхних, Восьмых – сами-то мы на Седьмых живем.

– Ку-стур! Ку-стур!

За Кустура я громче всех кричал. И знаете? – помогло! Кустур на кулак дальше Чагыла допрыгнул. Зря я опасался – мол, опозоримся. Пошла впрок мамина кормежка!

– Ку-стур! Ку-стур!

А тут и моя очередь подросла.

– Ю-рюн! Ю-рюн!

Пока разгонялся – еще ладно. А как прыгать начал... Еда-питье в кишках забултыхались: кэр-буу! Скачу дурным адьяраем – они, говорят, все одноногие – а в голове страх-ужас: «Расплещу! Ой, мамочки, расплещу ведь...»

– Ю-рюн! Ю-рюн!

Ф-фух! Доскакал! Не упал, и на том спасибо. Вроде, никто надо мной не смеется... А что это Айан у меня под ногами возится? Сопит, от усердия аж язык высунул.

– Юрюн как Кустур прыгнул! Палец-в-палец!

– Ничья!

– Ю-рюн!

– Ку-стур!

– Пе-ре-прыг! Пе-ре-прыг!

Что, опять?! Нет уж, дудки! Ничья – так ничья. Кустур тоже не хотел перепрыгивать – сразу видно. Ну, мы с ним обнялись, как братья, носами потерлись: ничья! Остальные поорали еще капельку – требовали перепрыга – и уgomонились. Кто-то крикнул: «Хапсагай! Бороться давай!» – и от нас отстали. Я и рад: бороться мне только со старшими разрешают. Старших с нами нет, Айан годами не вышел – короче, досталось мне судить.

Все равно, мол, без дела сию.

Раньше хапсагай был для одних боотуров. Пока восемнадцать весен не стукнет – никакой борьбы, мал еще. Да и после восемнадцати не всякому позволяли. Правда, мальчишки и тогда бороться лезли, сколько ни гоняй. Подсмотрят у взрослых приемчики – и ну друг

дружку валять! Старики почесали в затылках, решили: пусть упражняются, молокососы! Хуже не будет. Говорят, мой отец лично разрешил. Теперь бороться с девяти весен можно. Но на праздниках – ни-ни! Смотри, кричи, хоть из кожи выпрыгни, а в круг не лезь.

Это у нас, на Небесах, понятное дело. А в Среднем мире до сих пор раньше восемнадцати бороться нельзя. Строго у них там! Хорошо, что мы на Небе живем. Интересно, а у адьяраев как? Им ведь закон не писан. Они, небось, в своих подземельях и борются не по правилам!

На праздниках борцов под покрывалами прячут – чтобы не знали заранее, кто с кем схватится. Народ с других улусов приезжает – поди-угадай, кто под покрывалом! Мы-то местные, мы своих с рождения знаем: накрывай, не накрывай – без толку. У нас поединщик сразу в круг выходит – кто на меня?

...ловкач Испен увернулся, подставил Чагылу ногу. Тому, чтобы не упасть, пришлось оттолкнуться от земли ладонью.

– Раз!

Я поднял палец. Трижды коснулся ладонью земли – проиграл. Ну, это для нас такие правила, для мальчишек. У взрослых строже – один разок, один-разъединственный, и все, давай из круга. А так Чагыл еще поборется. Он нырнул Испену в ноги, Испен ухватил его сверху, поперек спины. Они долго мотали друг дружку из стороны в сторону, пытаясь перехватить поудобнее, свернуть противника набок и уронить. Наконец Испен вывернулся, отскочил назад, и Чагыл снова ткнулся ладонью в землю.

– Два!

Окрыленный успехом, Испен ринулся в атаку. Это он зря. Чагыл освободился из захвата, толкнул Испена плечом. Удар? Нет, сперва коснулся, потом толкнул, все по правилам! Испен потерял равновесие, и Чагыл подсек ему опорную ногу.

Испен со всего размаху на задницу сел.

– Чагыл!

Чистая победа, не придерешься.

– Ча-гыл! Ча-гыл!

Остаться в кругу Чагыл не захотел: решил передохнуть. Вышли бороться Никус с Кустуром, но тут все сразу ясно было – к удаганке не ходи. Кустур Никуса играючи через бедро бросил – сам даже не покачнулся. Против Кустура вышел Виллой, он из нас самый большой и сильный. Зато Кустур жилистый, верткий. Они второй год спорят, кто из них лучший. Помню, целую зиму не разговаривали: дулись.

– Ви-люй! Ви-люй!

– Ку-стур! Ку-стур!

Сцепились. Расцепились. Снова сцепились. Кустур нырнул под локоть, скользнул вправо, влево. Пошел по кругу на полусогнутых, вздыбил лопатки по-звериному. Виллой топтался в центре, следил, что да как. Поворачивался с лентой, обманывал. Кустур – волк: налетел, укусил, отпрыгнул. Ждет момента, чтобы завалить добычу. Виллой – медведь: норовит облапить, заломать. Пальцы на Кустуровых руках – клыки. Сомкнулись на чужом запястье, рванули. Нет, крепко медведь, не сдвинуть. Разжались клыки-пальцы, прянул волк прочь, а лесной дед за ним. Откуда и прыть взялась! Дотянулся, обхватил, да не так крепко, как хотел; вывернулся волк. Ступню Виллою подбил, и сам на ногах не удержался.

Упали оба.

– Ви-люй!

– Ку-стур!

Кто первый земли коснулся – не разберешь. Плохой из меня судья! Кому победу отдавать? Похоже, никому. А эти двое по земле катаются, правила забыли: оседлать друг друга норовят. Рычат, кашляют, у Виллоя кровь из носу течет.

– Стойте! – кричу. – А ну, прекратили!

Не слышат.

– Вставайте! Ничья!

Оглохли, балбесы.

– Заново боритесь! Или другим место дайте!

– Другим? Место?

– Ага!

– Дело говоришь, человек-мужчина. Чего расселся?

А это уже меня зовут.

– Иди сюда, сильный. Покажи нам, слабым.

7. Сильные и слабые

Омогой – старший, мне с ним можно. На полторы головы меня выше, в плечах чуть не вдвое шире. Ему уже ого-го – двадцать весен стукнуло.

Я рядом с Омогоем – тьфу, и растереть.

Пока я топтался, не знал, что делать, Вилюй с Кустуром из круга на карачках умотали. Будто ветром их сдуло. Да что там мальчишки! Сам круг в стороны разбежался: шире, еще шире! Народу откуда-то взялось: тьма-тьмуца! Лететь борцу с размаху наземь – кому охота, чтоб его ненароком приложило? Поди угадай, куда приземлится! Места нам досталось с запасом: летай, не хочу.

Омогой разделся загодя. Стоял, усмехался, мышцами на груди играл. Ох, и грудь! Наковальня! На парне были красивые штаны из мягкой ровдуги: пепельно-серые, с красными узорами на бедрах. Мичие сшила, у них с Омогоем любовь. Скоро свадьба, жених калым в семью невесты отогнал. Калым с копытами: цок-цок, мы здесь. Ешьте нас, пасите, доите! Вон и Мичие, кстати: из-за коновязи выглядывает. Румянец, брови вразлет. Тоже красивая, куда там штанам...

Вот скажите, как так бывает: она – красавица, а он – злая собака! Всегда на меня сердится. Что я ему сделал? Бороться? – я ж не против! А злиться-то зачем? Или он тоже от злости сильнее становится? Нет, вряд ли, таким родиться надо...

Белый Владыка! Что я понимал, сопляк-дурачина, в мои детские годы? Зависть была для меня всего лишь словом. Если я и завидовал кому-то, я делал это по-ребячьи: ух ты, вот бы мне, ну и ладно, бежим дальше! В самых острых случаях помогало спасительное: не больно-то и хотелось! Я же не знал, как это больно, нестерпимо, мучительно больно, когда хочется – и не можется. Никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Мне еще только предстояло выяснить, что это за боль, взглянуть ей в глаза, назвать по имени. Ни разу я не пожелал лучшему бегуну сломать ногу, лучшему стрелку – окриветь на правый глаз, обладателю лучшей шапки – уронить ее в болото. Наслаждение бедой того, кто был лучше тебя, а стал хуже – сейчас я знаю, что оно слаще наслаждения от победы над равным и даже над превосходящим. Я встречал их, сладкоежек; просто Омогой был первым.

– Что копаешься, сильный?

И ничего я не копаюсь.

– Раздумал выходить?

И ничего я не раздумал.

– Ну же, шевелись!

Мимо смотрит, будто меня нет. Ну и я не стал на него смотреть. Что я, сердитого Омогоя не видел? Стянул сапоги, рубаху, стою в одних штанах. Только мои проще, чем у Омогоя, и белые. Мама говорит, мне белое к лицу. И к имени моему подходит. Я не возражаю: мне тоже нравится. Пачкается только быстро, белое-то...

– По каким правилам? – спросил я.

– По вашим, малышам! – не преминул съязвить Омогой. – До трех раз, так ведь у вас? Знает он прекрасно наши правила. Просто куражится.

– Это если ладонью земли коснулся. А если...

– Ладонью? Да хоть затылком, сильный! Три схватки.

– Ладно.

Омогой пригнулся, набычился – и пошел прямо на меня. «Ю-рюн!» – пискнул Айан, поперхнулся и умолк. А все остальные вообще молчали. Один Вилкой носом шморгал, кровь останавливал.

Я нырнул Омогою под руки, хотел выхватить ногу – ага, как же! Две могучих лапищи ухватили меня, сгребли, вознесли над кругом. Я вцепился в Омогоя, как клещ, но он меня все-таки от себя отдрал. И зашвырнул. Ну, я полетел – куда деваться? Когда падал – перекатился удачно, но все равно дух из меня вышибло. В глазах потемнело. В ушах – звон. Нет, не звон, это дедушка Сэркен Сэсен поет:

С криком, гиканьем богатыри,
Словно вздетые на рожон караси,
Навалясь друг на друга,
Бороться взялись,
Как древесные корни, руки сплетая,
Как быки лесные, мыча,
Принялись хребты друг другу ломать...

– Вставай, сильный!

Плохой Омогой. Плохой Омогой.

Очень плохой Омогой.

– Давай, сильный. Вторая схватка.

Я встал. Штаны затрещали.

– Да, – кивнул я.

Я сильный. Он сам сказал, что я сильный. А он – плохой. Он плохой, а я – хороший. Хороший и сильный. Хорошие всегда побеждают! А он плохой и тяжелый. Падай! Не хочет падать! За руки хватает, по ногам бьется. А вот уже и не тяжелый! Куда земля делась? Вот земля. Перед глазами. Омогой лежит. Я лежу. Штаны порвались.

Жалко штанов.

...всей давящей силой могучих рук,
Со стоном и ревом они
Принялись друг друга ломать,
Подымать,
Об землю бросать...

– Ничья! Вставай, сильный!

Встаю. Штаны! Штаны порвались! Плохой Омогой! Схватил, давит. Я сильный! Я тоже давлю. Вот тебе! Я большой, я сильный! Я тебе покажу! Я тебя... Кырык! Кырык!..

Уй-юююй!

Нас с Омогоем подхватило, понесло, расшвыряло в разные стороны. Правда, разные стороны – это не очень далеко. Я повис в воздухе, отчаянно болтая ногами. Упаду! Нет, не упаду. Нас держали, вернее, держал мой старший брат, Мюльдун-бёгё. Поднял, сунул себе под мышки – меня под правую, Омогоя под левую. Висите, мол, пока в разум не придете. Ну, мы и висели. Тут трепыхайся, не трепыхайся – пустое дело. А я еще и без штанов. Свалились,

рванина, лежат в кругу. Стыдно-то как! Словно ты уже вырос, по нужде встаешь, и вдруг ночью всю постель обмочил. Я раньше когда расширялся, вечно одежду рвал. Потом наловчился, а может, привык. Я расширяюсь, и одежда со мной вместе. Штаны, рубаха, шапка, сапоги. Случалось, и доха. Не всякий раз, конечно: вот и сейчас – были штаны, да сплыли. Мюльдюн обещал, после Кузни всё наладится. Надо подождать. Жду, значит, вишу у брата подмышкой.

Плохой Мюльдюн. Хороший Мюльдюн.

Очень хороший Мюльдюн.

Теперь вы знаете, почему моего старшего брата называют «бёгё» – силач. В сравнении с ним хоть я, хоть Омогой – щенки перед медведем.

– Усохни! – велел он мне.

И Омогою:

– Уймись!

Не дождавшись ответа, Мюльдюн хмуро зыркнул на меня, на Омогою. Убедился, что мы больше не пытаемся вцепиться друг в друга – и аккуратно поставил обоих на землю. Эх, зря он вмешался! В третий раз я бы с Омогоем справился, нечего было нас разнимать!

...как быки лесные, мыча,
Принялись хребты друг другу ломать...

Понадобилось время, чтобы я узнал, понял, принял разумом и сердцем: Мюльдюн спасал не меня. Мы с Омогоем схватились в охапку, мы давили что есть мочи, даже не пытаясь бросить противника на землю. Тупая сила против тупой силы. А я всё расширялся. Я не мог, не умел иначе; я родился таким. Еще чуточку, и у Омогоя сломалась бы спина. Он терпел, не застонал ни разу – стыдно человеку-мужчине стонать, стыдно кричать, даже если его убивают!

Нет, брат спасал не брата. Кто ж мог знать, что случится дальше?

– Сильный, да? – спросил Омогой Мюльдюна.

А мне почудилось: он обращается ко мне.

– Сильный, – согласился Мюльдюн.

– А что брат твой?

– А что брат мой?

– Так ведь он, говорят, посильнее будет.

Это я, в смысле? Сильнее Мюльдюна?! *Стану* сильнее? После Кузни? Было бы здорово, но верилось с трудом. Юрюн-бёгё? Вряд ли, честное слово.

– Может, и так.

Мюльдюн словно каши в рот набрал. Я не сразу понял, что он говорит. Он вроде бы стал еще больше, хотя больше, казалось, некуда.

– А может, и не так?

Мюльдюн молчал. Смотрел на Омогою исподлобья, губу кусал. Плохо смотрел, а молчал и того хуже. Мне даже страшно стало. Омогою бы заткнуться, но он не заткнулся. Помните, я говорил вам про зависть? Жуткое дело.

– Где брат твой, айыы?

– Замолчи, – попросил Мюльдюн.

В горле у него заклокотало. Там словно закипел котелок с похлебкой. Омогой слушал этот клёкот и улыбался. Так скалится волк, угодивший в ловушку, перед тем как отгрызть себе лапу.

– Вызволил бы его, а? С ним бы силой и померялся.

– Молчи, дурак!

– Это я дурак, бёгё? Мои братья на свободе...

Я хотел сказать, что меня ниоткуда вызволять не надо. И не успел: Мюльдюн сделался огромный, как гора. Я его впервые таким видел! Сколько раз просил: расширься по-настоящему, по-боотурски! Ну чего тебе стоит? Он хмурился, уходил. Бывало, подзатыльник давал. А теперь не ушел, остался – лучше бы ушел, или подзатыльник...

Неужели и я таким после Кузни стану?!

Я таращился на Мюльдюна, раскрыв рот – точь-в-точь как Кустур на наш дом. И Омогой таращился. Ему бы бежать, а лучше ниц падать, умолять о прощении! Не важно, прав ты или виноват, если каждому известно: у боотуров сила и злость рука об руку ходят.

Храбрый был Омогой. Гордый был. Глупый.

– Дурак! – взревела гора.

И ударила лавиной.

Вот он, подзатыльник. Накаркал я сгоряча.

Этот хруст до сих пор стоит у меня в ушах. Кого бы я ни убивал, как бы я ни убивал, а слышу: хрустит. Шея Омогой сломалась сухой веткой. Тело унесло шагов на двадцать. Парень рухнул – мешок, набитый рухлядью – и даже не вздрогнул от падения. Он лежал ничком, а лицо, нелепо вывернутое, смотрело вверх, на плывущие к горам облака. Из уголка рта начала медленно вытекать струйка крови.

– Омогоооой! Омого-о-о-о-ой!

Из-за коновязи вылетела Мичие: коса растрепалась, в глазах – черная выюга. Упала на колени рядом с телом, обхватила руками, прижала к груди.

– Омого-о-о-о-ой!

Она выла волчицей: дико, безнадежно. А я окаменел, клянусь. До сих пор при мне никого не убивали. И покойников со свернутой шеей я раньше не видел. Я стоял без штанов, в чем мать родила, и знал наверняка: Омогой мертв. Живые лежат иначе.

– Зачем, Мюльдюн?!

Это я кричу? Правда, я?

– Зачем?!!

Мой брат не ответил. Он пожал плечами, отвернулся и зашагал прочь, не оборачиваясь. На ходу Мюльдюн-бёгё усыхал, уменьшался, становился прежним. Мнилось, что он удаляется гораздо быстрее, чем на самом деле. Вот-вот сойдется в точку, исчезнет, сгинет без остатка.

Вы помните день, когда закончилось ваше детство?

Я помню.

Песня вторая

*Смотри, внемли!
Мой путь озари!
Отвагой мой дух одари.
Срок настал
Далеко уйти,
Державный путь проложить
По девяти поворотам крутым!*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Это к счастью

– Папа, ты занят?

Закинув ноги на перила, отец любителю горами. Крепко упершись ногами в пол веранды, я смотрю на отца. Мне кажется, что земля качается. Что стоит мне изменить позу, и Юрюн Уолан, Белый Юноша, полетит кувырком – с небес в бездну Елю-Чёркёчёх. «Что, сильный?» – спрашивает мертвый Омогой. Он теперь все время торчит у меня за спиной. «Что, сильный?» Он спрашивает, а я не понимаю, чего он хочет. Узнать, сильный я или слабый? Выяснить у меня, сильного, что происходит? Что я делаю?!

А действительно, что я делаю?

– Рад тебя видеть, Юрюн, – произносит отец.

– К тебе можно?

– Можно.

Все, как обычно. Лавчонка для меня. Чорон с кумысом для папы. Молчание для двоих. Как спросить? С чего начать? Кустур, когда собирается клянчить у матери еду, размышляет: как подкатиться? Пусть колесо катится, или Кустур, а я не хочу. Вчера уже к маме подкатился, до сих пор под ложечкой ёкает.

«Вот, – говорю, – мама, я у тебя родился...»

Она улыбается.

«Вот маленькая Айталын Куо у тебя родилась...»

Она улыбается.

«Вот Мюльдюн-силач: большой, красивый...»

Она улыбается. Радует моим словам.

«Вот, – гну дальше, – Умсур у тебя первой родилась. Умница, шаманка...»

На кухне светло-светло. Вечер, солнце село за утёсы, а светло. Когда мама радуется, в доме всегда полно света. В самых темных закоулочках, под лестницей, в чулане – всюду.

«И вот я думаю, мама...»

«О чем, Юрюнчик?»

«Было бы хорошо, если бы у тебя еще кто-нибудь родился. Ну, не сейчас, а раньше. И тебе хорошо, и папе, и мне. Так у меня один старший брат, а так было бы два...»

Сначала мне почудилось, что я ослеп. Темнота кругом, не видно ни зги. Нет, видно, а всё равно темнота. Свет погас, улетучился. И мама плачет. Тихо, жалко, без слез. Вот вы спросите, как я понял, что она плачет, если тихо и без слез? Вот спросите, да? Ну вас в болото с вашими вопросами! Откуда я знаю?!

«Мам, ты чего?»

Плачет.

«Мам, не надо, а? Я ж вообще...»

Плачет.

Я даже обернулся: может, мертвый Омогой подскажет, что делать? Нету Омогоя, сбежал. Тут любой сбежал бы, честное слово.

«Мам, я тебя люблю...»

«Я тебя тоже люблю, Юрюнчик. Очень-очень люблю.»

Все, не плачет. Просто не светится больше, а так ничего.

«Я пойду, мама?»

«Ты кушать хочешь?»

«Нет.»

«Ты растешь, тебе надо много кушать.»

«Я не голодный. Я пошел, хорошо?»

Она кивает: хорошо. А я-то вижу: ничего хорошего.

Вот, сижу у отца, и думаю: вдруг она там опять плачет? Знаете, так хочется всё забыть! Чтобы Омогой живой, и мама улыбается, и Мюльдун вернулся в улус попозже, завтра или послезавтра... Наверное, я заболел. Простудил голову, теперь маюсь. Мечтал, чтобы Мюльдун поскорее приехал, а теперь что? Про Кузню, и ту забыл.

– Пап, мы вчера с Кустуром заспорили...

Отец молчит. Я ему в лицо заглянул: слушает. Ну, наверное, слушает.

– Он говорит, в семье друг про друга всё знать должны. На то и семья. Правильно?

– Старшие про младших, – уточняет отец.

– А младшие про старших?

– Младшим не всё полезно знать. Передай это Кустуру от меня.

Уши горят. Щеки горят. Не умею я врать! Я Кустура и не встречал со вчерашнего. А вру: спорили... И кому вру? Родному отцу!

– Ага, передам. Хорошо, друг про друга – не всё. Если младшие про старших, и не полезно. А просто друг друга? Друг дружку в семье все знать должны?

Это я хитро придумал. Сейчас сбоку зайду.

– Да, – кивает отец. – На то и семья.

– Я тоже Кустуру сказал: семья, мол. А он спорит! Мало ли, спорит! Вот, допустим, был бы у меня старший брат, да уехал далеко...

Отец молчит. Слушает.

– Он, значит, уехал, а родители мне не сказали! В смысле, не мне, а Кустуру. И не знаю я, в смысле, Кустур, о своем родном брате ничегошеньки! Это по обычаю, или как? По закону?!

Отец встал. Встал, не вскочил. А мне почудилось, что вскочил. Аж мурашки по хребту! Точно я голову простудил. Папа чорон на столик поставил, а как по мне, так в угол зашвырнул. Доху соболью свернул, уложил на лавку, а вроде и на пол бросил. Лавка стоит, а будто упала. И в животе у меня ледышка – тает, течет.

– Если по закону, – отец смотрит на меня. Раньше он никогда так не смотрел, словно впервые увидел. – Если по обычаю, то младший должен сидеть на заднице ровно! И не думать, что он умнее всех!

Он нависает надо мной:

– Купить отца решил, щенков? На кривой объехать?! Законы-обычаи, Кустура приплел! За идиота меня держишь?

– Папа, я...

– Молчать! Если по закону, так не твое собачье дело! Если по обычаю, так засунь язык знаешь куда? Семейю он вспомнил! Младшие, старшие... Мать до слез довел, мерзавец!

И по уху меня – треск!

Плохой папа. Плохой папа.

Очень плохой папа.

Встаю. Нависаю над ним. Я большой, он меньше. Я старший? Если большой? В кулаке хрустит. Это Омогой, его шея. Нет, не шея. Откуда в кулаке шея? Это чорон. Зачем я взял папин кубок? Зачем сломал? Кубок маленький, весь в кулак поместился. Обломки колючие. Папа ругаться будет. Я младший. Я виноватый.

Хороший папа. Хороший папа.

Очень хороший.

– Извини, – говорю. – За кубок.

– Ладно, – машет он рукой.

– Я нечаянно. Я не хотел.

– Ерунда. Это к счастью.

– Что к счастью?

– Посуда. Посуда бьется к счастью.

Отец садится на лавку. Забрасывает ноги на перила. Я укутываю ему ноги дохой. Иду на кухню за новым чороном. Приношу, наливаю кумыса. Доверху, с шапкой пены. А что? Обычное дело.

«Обычное дело, сильный,» – соглашается мертвый Омогой.

2. Кто рожден – уйдет

Хорошо, что я еще не вырос. Был бы взрослым, пришлось бы на похоронах всё время торчать. Мне папа объяснил, когда успокоился: три дня – три обряда. Первый – от кончины до выноса тела. Второй – погребение. Третий – поминки. Да, еще меры предосторожности от злых духов. Я отца, кажется, и не слышал вовсе, а надо же! – запомнил. Воочию увидел: прихожу я, значит, стою у могилки. Гляжу, как шаман Араман кладет покойнику восемь ребер кобылятины да четыре берестяных лукошка с маслом. Не шагать же бедняге на тот свет впроголодь? Жду, пока могилу бревенчатым срубом обнесут: дом без окон, без дверей! А Омогой из-за плеча берет и спрашивает: «Что, сильный?» От одной мысли об этом становилось зябко, даже на солнцепеке. Заору, небось, при всем улусе, опозорюсь навеки.

Я чувствовал себя виноватым. Ну да, Омогоя убил не я, а Мюльдюн. Ну да, случайно: силу не рассчитал. Ну да, Омогой сам меня бороться вызвал, сам Мюльдюна разозлил. Так вот нудакаешь, разбираешься, и выходит, что я ни при чем.

А всё равно виноватый.

Я ушел со двора в дом. Долгое время бродил по комнатам, натыкаясь на лавки и углы. Больно зашиб колено и обратно во двор вышел.

– Юрюн, – позвал меня кто-то.

За оградой стоял непривычно тихий Кустур.

– Там Сэркен Сэсен приехал.

– Зачем?

– Будет поминальную песнь петь.

– Для Омогоя? Нарочно для этого приехал?

Не верилось. Не та птица Омогой, чтобы ради него сам дедушка Сэркен приезжал. Дедушка живет далеко, в Нижнем мире, на берегу моря Муус-Кудулу. Там вода – огонь, прибой – ледяная шуга, песок – красней крови. А дедушка живет, сидит, пишет: пером орла на плитках гранита. И вот, понимаешь, все бросил, бежит бегом Омогоя воспевать!

– Не знаю, – смутился Кустур. На шаг отступил. – Зачем-то, наверное, приехал.

– Ты чего пятишься?

– А ты чего злишься?

– Я?

– Ты! Вон как раздулся!

– И не злюсь я ничего...

– Оно и видно! Дашь по шее, и лежать мне рядом с Омогоем!

– Я тебе? Дурак ты, Кустур!

– Дурак, да живой! Пойду я лучше дедушку Сэркена слушать. Зачем бы он ни приехал, а у нас похороны. Отчего бы и не спеть?

Он почесал нос и подобрел:

– Так ты идешь?

Поминать Омогоя должны завтра. А песню – сегодня? Впрочем, дедушке Сэркену виднее. Поминальные песни слушать можно кому угодно, даже детям. Пойти? Не пойти? Останусь, решат, что я и впрямь виноват. Кто прячется, тот и виноват.

– Иду.

По дороге мы с Кустуром молчали. О чем тут говорить? Когда мы пришли, люди уже занимали места на тюсюльгэ, выстраивали полукруг. Точь-в-точь облава на певца! Впереди по центру – старики и старейшины. За ними, густой толпой – взрослые мужчины с женами. За ними – неженатая-незамужняя молодежь и воины. По краям – мы, мальчишки. Девчонки-то больше с семьями, с матерями. А мы – вроде как сами по себе.

Напротив людей улуса, многие из которых расселись прямо на прогретой солнцем земле, лицом на восток устроился Сэркен Сэсен, почетный гость. Ему скамейку принесли, шкурами застлали. Я на дедушку глянул, аж вспотел. Шуба с горностаевой опушкой, шапка соболя с тремя хвостами; штаны с меховыми набедренниками... Это в летнюю-то жару! Мой отец снизу мерзнет, а Сэркен, должно быть, весь целиком. Впрочем, выглядел он еще вполне крепким, сидел прямо, не горбился. Борода седая, лицо морщинами иссечено, будто утес трещинами, а взгляд цепкий, острый, молодой.

У ног дедушки устроился Толбон со своим хомусом¹⁰ – подыгрывать сказителю, когда тот петь станет. Я заметил, где родня Омогоя собралась, и потащил Кустура на другой край. Не могу я его родным в глаза смотреть! Не могу, и всё. Кустур не возражал. Мы как раз успели сесть между Чагылом и Никусом, когда Сэркен Сэсен встал со скамейки, и упала тишина.

Дедушка выпрямился и застыл. Никакой он нам не дедушка, ни мне, ни Кустуру, ни даже папе. А вот так стоит, и кажется, что дедушка он всем-всем, сколько ни собралось. Все три мира поставь на ладошку – чья ладошка? Дедушки Сэркена! Мне и впрямь почудилось, что он каменный. Порыв ветра налетел – даже полы шубы не колыхнулись. Одни глаза на лице живут, каждому в душу заглядывают.

Кто рожден – уйдет,
Кто ушел – ушел,
Так наш путь лежит.
Так в начале времен повелел, приказал
Строгий Дьылга-хан¹¹,
Господин-судьба...

Чуть запоздав, вступил Толбон. Чистые печальные звуки хомуса вплелись между слов, поплыли над головами к Верхнему небу. Путь душе указывали? Мир изменился, воздух сделался прозрачным до звона. Горы на горизонте, стена леса за ручьем – всё раздвинулось, отступило, а небо, наоборот, придвинулось ближе. Небо – и морщинистый лик Сэркена Сэсена.

¹⁰ Хомус – губной музыкальный инструмент, род варгана.

¹¹ Дьылга-хан, он же Дьылга-тойон – досл. Судьба-Владыка. Один из трех божеств судьбы.

...Молодым ушел храбрый Омогой,
С гордо поднятой головой,
Юноша удалой
С солнечными поводьями за спиной.

Сюр-дыхание истекло,
Потемнело чело,
Усохло могучее тело.
Берестю укутаем мы тебя,
Головою на север положим тебя,
Вознесем над тобою высокий помост –
Будет крепок он,
Мир-покой храня...

Я видел, как наяву: вот тело Омогоя, завернутое в бересту, опускают в землю, головой на север. Ветер гуляет в кронах высоченных сосен. Лучи солнца, просеянные сквозь хвою, желтой пылью осыпаются на погребальный сруб. К запаху смолы примешивается терпкий аромат тлеющего можжевельника. Шаман Араман, звеня колокольцами и оберегами, окури-вает могилу священным дымом. Бьет в бубен, гонит злых духов, кричит на них. Молчит улус. Молчат братья Омогоя, отец, мать. Молчит красавица Мичие. Держится, не плачет.

Хорошие у Омогоя похороны.

...Буор-кут, душа, в землю возвратись,
Салгын-кут, душа, в небо вознесись,
Ийэ-кут, душа, духов мир пройдя,
В Осьмикрайнюю возвратись,
В теле новом, могучем
Восстань, возродись!
Господин-Судьба, не томи его,
Нам верни его...

Когда дедушка закончил петь, в небе долго таяло эхо его слов и хомуса Толбона. Люди забыли дышать – такая царила тишь. Позже мы зашевелились, словно просыпаясь. Разговаривали шепотом, расходились медленно, ступая тихо, как на охоте. Боялись разрушить умиротворение, снизошедшее на улус. Я тоже уверился: смерть – это еще не конец. Омогой родится заново, и в следующей жизни у него все будет хорошо!

...Буор-кут, душа, в землю возвратись,
Салгын-кут, душа, в небо вознесись,
Ийэ-кут, душа, духов мир пройдя,
В Осьмикрайнюю возвратись...

Про три души я и раньше слышал, только не придавал значения. Это же важно, да? Если души перепутаются или, скажем, одна из них потеряется – вдруг человек не сумеет родиться вновь? Останется куковать в мире духов? Говорят, отважные боотуры, погибнув в бою, уходят на Верхнее небо, в войско Илбис-Хана, бога войны. А остальные?

Пока я размышлял, все успели разойтись. Кустур меня звал, не дозволялся. А я торчу столбом, голову ломаю. Про души, по-хорошему, надо сестру спросить. Она – удаганка, должна

знать. Она все на свете знает! Наша Умсур даже мертвых оживлять умеет, если свежие, непротухшие. Жалко, что ее в улусе не было, когда Мюльдюн Омогоя зашиб. Ожила бы его... Теперь, наверное, поздно. Пока сестры нет, можно спросить у дедушки Сэркена. Он старый, мудрый – тоже, небось, знает.

Я тихонько подкрался к дедушке со спины. Обождal, боясь побеспокоить. Сэркен сидел на скамье, смотрел на горы – совсем как мой отец. А когда я уже решился открыть рот...

– Здравствуй, Юрюн.

Глаза у него на затылке, что ли?

– Здравствуйте, дедушка Сэркен. Хорошо ли доехали?

– Спасибо, не жалуюсь.

– Вы так здорово пели сегодня!

– Только сегодня?

Я нутром чуял: дедушка улыбается. А всё равно неловко.

– Вы всегда здорово поете! Но сегодня – особенно.

– Выкрутился, молодец.

Он повернулся ко мне. Он действительно улыбался. От его улыбки хотелось плакать. Ну да, поминальная песнь – не свадебная.

– Дорога была удачной, – сказал он, теснее нахлобучив шапку. – И нет, я приехал не ради Омогоя. Но ты ведь хотел спросить о другом?

Хуже нет, когда тебя видят насквозь.

– Я про души спросить хотел. Почему – три?

Остальные вопросы – тьма-тьмущая! – вылетели из головы. И хорошо, что вылетели. О главном спросил, а остальное – ерунда.

– Ты вырос, Юрюн Уолан, – дедушка молчал так долго, что я уверился: не ответит. И ошибся. – Пора тебе в Кузню. Там из тебя быстро вышибут лишнее любопытство. Не бойся, я шучу. Я люблю взрослые вопросы. Но сначала, если не возражаешь, спрошу я. Что делает человека – человеком?

– Что?

Я растерялся. Я думал, он рассказывать станет, а не меня спрашивать.

– Племя, – за меня ответил дедушка. – Давай, загибай пальцы! Племя, в котором ты родился. Земля, где ты родился. И ты сам, новый человек. Сколько пальцев ты загнул?

– Три.

– Очень хорошо. Теперь разгибай! Начнем с первого пальца. Отличный палец, длинный, очень полезный. Ты замечал, что дети обычно похожи на своих родителей? На дедушек с бабушками?

– Конечно! Вот, к примеру...

Старик остановил меня движением руки:

– Это дышит материнская душа – ийэ-кут, душа рода. Твой приятель Кустур родился человеком, ты родился боотуром, кобыла родилась кобылой, а озерный карась – карасем. Уловил дыхание ийэ-кут? Если она дышит полной грудью, в тебе может проснуться память предков. Обычно эта память спит, но сильный шаман способен ее разбудить.

– Сильный? Как моя сестра Умсур?

– Да, Умсур очень сильна.

– А в кобыле может проснуться память предков?

– Может.

– А в карасе? А в Кустуре?

– Твоя сестра сильна, а ты нетерпелив. Любишь перебивать старших, бежать впереди табуна. Скажу тебе по секрету: это тоже ийэ-кут. Боотуры все таковы, и не только в детстве. Я бы сказал, что боотур и есть детство.

– Я понял, – кивнул я.

Дедушка пожевал губами с явным сомнением:

– Правда? А по тебе и не скажешь. Ладно, разгибай второй палец. Какой тебе палец дороже, первый или второй? Оба дóроги? Молодец, соображаешь. Вторая душа у тебя земляная – буор-кут. От нее зависит, вырастешь ты дылдой или коротышкой, силачом или слабаком, худышкой или толстяком. Вот сидит предо мной Юрюн Уолан: роста выше среднего, для своих лет крепыш, но не громила, уж извини. Скорее худой, чем толстый, и горой жира ему не стать, сколько мама ни корми. Чего еще не хватает нашему Белому Юноше?

Мы с Сэркеном, не сговариваясь, посмотрели на мой средний палец. Он последний остался загнутым. Я разогнул палец:

– Чего, дедушка?

– Воздушной души салгын-кут. Воздушная душа – это ты сам, Юрюн. То, что у тебя на сердце; то, что у тебя в голове. Твои мысли, твоя память, твой характер. Желания и страхи, привычки и навыки. Что ты любишь, а чего терпеть не можешь. То, чему тебя научили; то, чему ты научился сам. Вот теперь все три души сошлись вместе. Ты стал целым, человек-мужчина. Нет любой из них – нет и тебя.

– А какая главная?

Я думал, он меня высмеет.

– Ийэ-кут, – серьезно ответил дедушка. – Материнская душа притягивает к себе остальные две. Если ее сохранить отдельно, если создать душу-близнеца...

Впервые на моей памяти Сэркен Сэсен, пишущий орлиным пером на гранитных плитах, с трудом подбирал нужные слова. Так я, помнится, объяснял маленькой Айталын Куо, что нельзя играть со всякой гадостью. Я тогда чуть язык не свернул – мои объяснения она понимала с третьего на десятое. Приходилось выкручиваться, обходясь самыми простыми доводами: нельзя, потому что нельзя.

– Тогда можно вернуть человека после смерти.

– Сохранить? Где?!

– В другом теле. Допустим, в теле зверя.

Кажется, он хотел сказать что-то другое, но в последний миг передумал.

– Или в дереве. В волшебном кристалле... Не важно! Если вселить материнскую душу-близнеца в живое тело, пока не успела отлететь воздушная душа салгын-кут, материнская душа притянет воздушную и земляную. Человек возродится – такой же, как был. Но если промедлить или провести обряд с ошибками, салгын-кут войдет в тело не полностью. Тогда человек возродится ущербным. Воскрешение, мой любопытный боотур, это очень сложное колдовство.

И тут меня прошибло!

– Дедушка Сэркен! А эту душу, ну, близнеца... Если ее в зверя засадить, а потом из зверя выпустить – это значит вызволить, да?

Старик нахмурился. А меня несло:

– Ну, к примеру, был бы у меня брат. Не Мюльдюн – другой, тоже старший. Сделали бы ему душу-близнеца и загнали в корову... Нет, лучше в лося. В здорового! А брата, скажем, из лука застрелили. Или со скалы упал. Он умер, а душа так в лосе и осталась. Если того лося найти, если душу брата из него вытащить – это будет вызволить? Или нет?

– Повадились горшок по воду ходить, – пробормотал Сэркен. Убейте меня сапогом, если я понял, к чему это он. – По кривой дорожке. Гляди, Юрюн, голову не расшиби.

Больше он со мной не разговаривал. Во всяком случае, сегодня.

3. Меньше глаз, меньше слез

– Иди за мной, – велел Мюльдюн. – Всё, пора.

И вот тут я испугался по-настоящему.

– Вещи, – сказал я. – Мои вещи.

– Что твои вещи?

– Надо собраться в дорогу.

Он пнул ногой тючок, стоявший у дверей:

– Не надо. Мать уже собрала.

– Еда? – предположил я. – Припасы?

– Ты голоден?

– В дорогу, с собой.

– Прокормлю, – отрезал Мюльдюн.

– Попрощаться?

Я цеплялся за соломинку. Никогда бы не подумал, что так испугаюсь отъезда в Кузню. Ждал, ждал, и вот на тебе! Стыдись, боотур!

– С родителями? – он пожал плечами. – Ни к чему.

И правда, ни к чему. Отец наверняка знает. Мать начнет плакать.

– Время тянешь? – напрямик спросил Мюльдюн.

– Похороны, – кровь бросилась мне в лицо. – Весь улус хоронит Омогоя. Они там, за березовой рощей.

– Ну и славно. Меньше глаз, меньше слез.

Он еще раз пожал плечами и добавил:

– Пока вернутся, мы уже будем далеко.

– Плохая примета.

Он молчал. Ждал, пока я справлюсь со страхом. Стоял, сдвинув брови, глядел на меня сверху вниз – сильный, огромный, хмурый. Честно говоря, я не помню, чтобы Мюльдюн-бёгё улыбался. Мой старший брат оделся по-летнему, но с прицелом на слабые холода: сапоги из стриженного оленьего камуса¹², расшитые по верху крупным бисером, чулки из волчьего меха, прикрепленные к кольцам на кожаных штанах, кафтан до колен – на кафтан пошла кожа жеребят светлой масти; круглая шапка с оторочкой. Знаете, почему я с сапог начал? Это он на меня глядел сверху вниз. А я-то на него – снизу вверх.

Презирает, думал я. И правильно.

Я еще не умел читать лица, взгляды, жесты. Он завидовал мне, Мюльдюн-силач. Но не так, как завидовал мертвый Омогой – добрая зависть, родная, белая. У нее много имен – радость, что мне повезло, сожаление, что ему не повезло. У Мюльдюна не было старшего брата. Только сестра, а с сестры много ли боотурской пользы? Его в Кузню отвозил Ала Дяргыстай, сторож воинской заставы, охраняющей путь с земли на небеса. Особым распоряжением моего владычного тезки Юрюна Ар-тойона, которого послушаться нельзя, Дяргыстай отпустили для этого со службы – великая честь! И великая опасность – полезет враг на небо, кто его будет трехзубой острой вниз спихивать? Ничего, обошлось. Мюльдюн гордился, ценил вышнюю заботу, а всё равно – и герой Ала Дяргыстай, и боец, и молодец, а чужой, не брат.

Каждый завидует тому, в чем ему отказано.

– Плохая примета, – повторил я. – Уезжать на похоронах?

Мюльдюн отвернулся, подхватил тючок:

– Иди за мной. Хватит болтать.

Снаружи шел слепой дождь. Жарынь, солнце, а он моросит. Улус точно вымер, все ушли попрощаться с Омогоем. Лишь собаки лениво бродили меж юрт, перебрехивались. Оружие, вспомнил я. Доспех, шлем, щит. Мне в Кузне подберут оружие. И вдруг как плетью обожгло: а Мюльдюн? Он почему без оружия?! Только ножик на поясе: маленький, кривенький.

¹² Часть шкуры с жестким волосом, снятая с нижней части ноги оленя.

Мы в такую дорогу отправляемся, адьяраи, небось, за каждой кочкой сидят, а он безоружный, бездоспешный! Хоть бы лук взял, что ли, стрелы...

Сбегать, взять свой? Хороший, охотничий?!

«А ты вообще видел брата при оружии? – спросил я себя. – В доспехе? Хоть один-разъ-единственный разик?» И признался: нет, никогда. Дома тоже ничего не хранится. Панцирь, шлем, боевая колотушка; меч – короткий хотокон или длинный батас¹³... Странно, раньше я об этом не задумывался, а сейчас вот приспичило.

Где оружие твоё, Мюльдун-бёгё?

Он поднял руку к небу, словно собирался выхватить меч из проплывающего мимо облака. Рукав сполз до локтя, я увидел предплечье, густо перевитое жилами. Казалось, Мюльдун тащит что-то с Верхних небес на наши, а оно упирается.

– Сейчас, – пробормотал он. – Вот, уже...

Залаляли собаки. Поджав хвосты, они пятились в укромные места. У меня занули зубы, как от ледяной воды. Между лопатками свербило. Почесать? Я стеснялся и терпел. Все шло иначе, чем я ожидал: готовился, готовился – и раз, едем в Кузню, а я не готов. Ну ни капельки не готов! Верно говорил Кустур: такую голову, как у меня, только в шлем колотушкой забивать!

– Давай, давай, – бурчал Мюльдун.

Он ухватился левой рукой за запястье правой. Встал прочнее, прижал подбородок к груди. По виску на щеку сползла крупная капля пота. Вторая. Пятая. Капли превратились в ручеек. Я поймал себя на том, что напрягаю плечи и спину – сильно, до боли. Вряд ли Мюльдуну была какая-то помощь от моих бессмысленных стараний, но расслабиться не получалось.

– Ну что ты ерепенишься?

Облако. Сизое по краям, а сбоку – алый гребешок. Он снижалось, двигаясь по крутой спирали. Гребешок подмигивал, то угасая, то разгораясь вновь. Солнце играло с облаком, убирая луч и возвращая обратно, щекоча пушистый завиток.

– Это кто? – глупо спросил я. – Это что?

Облако опустилось перед домом.

– Облако, – разъяснил Мюльдун. – Сейчас полетим.

– В Кузню?

– Для начала на землю, в Средний мир. Ты туда пешком собрался?

– Пешком долго. Я думал, мы на конях...

– Гусь думал, – сказал Мюльдун. – Съели гуся.

И убрел в облако, нимало не интересуясь, иду я за ним или нет.

4. Я бы не плакал!

Представляете ком лебяжьего пуха? Большущий, высотой с муравейник? Вот он лежит, а может, стоит внутри облака, и кишит малюсенькими пушинками, словно белыми муравьями. И вы плюхаетесь на него задом – да-да, задом на муравейник, и смейтесь, сколько угодно! Вы плюхаетесь, а он под вами проседает, уминается, и вы уже сидите на лавке со спинкой и подзатыльником. Ну хорошо, подголовником. Не знаю, как у вас, а у меня эта штука затылок подпирала.

– Есть хочешь? – спросил Мюльдун.

– Ага.

Вокруг клубилось, бурлило квашеное молоко. В него добавили сыворотку перекисшей сметаны, а в придачу сыпанули творожка – сушеного, остренького. Ну да, и бычьих сухожи-

¹³ Общее название меча – батыя. С виду похож на тяжелый, расширяющийся на конце нож. Рукоять трубчатая, позволяет вставлять древко, увеличивая длину оружия. Короткий меч – хотокон, средний – батыга, длинный – батас. При необходимости используется в домашнем хозяйстве: забой скота, рубка дров и т. д.

лий набросали. Будущий кумыс, папина радость, бродил, пенился, а кумысодел-невидимка всё трудился, перемешивал облако мутовкой. Я приняхался. Сказать по правде, не люблю запах кумыса. Нет, пахло летним лугом. Еще чуть-чуть – грозой, когда она на подходе.

Ну и хорошо.

– А когда мы полетим?

– Мы уже летим.

Я протянул руку. Пальцы коснулись зыбкой преграды, похожей на стену из взбитых сливок. Еле слышный треск, слабый укол – так бывает, когда гладишь взъерошенную собаку – и в гуще сливок открылась полынья: круглое окошечко. Я попробовал всунуть руку дальше, прямо в окно, но пальцы вязли, не проходили. Окошко выталкивало меня, разрешая только смотреть. Я ткнулся в него носом, ожидая треска и укола. Нос увяз, как и пальцы, треска я не дождался. Зато стали видны другие облака. Они плыли далеко под нашим – табуны, стада кудрявых облаков.

«Может, и в них кто-нибудь сидит, – предположил я. – А что? Обычное дело. Сидит, задрал голову, открыл окно в потолке. Смотрит на нас, думает, что наше облако – просто так. Вот ведь дурачок!»

– Это мое облако, – сказал я вслух.

– Почему? – удивился Мюльдюн. – Это мое облако.

Мне даже показалось, что он чуть-чуть расширился. Злитесь, что ли?

– Белое, – объяснил я. – Все кругом белое. Я – Юрюн Уолан, племянник Юрюна Ар-Тойона. Белый Юноша, племянник Белого Владыки. Все, что белое – мое.

И добавил на всякий случай:

– Шутка. Мюльдюн, это я шучу.

– Ешь, – ответил Мюльдюн-бёгё. – Вот.

И поставил передо мной миску. Шуток он и раньше не понимал.

– Спасибо.

Над миской курился легкий парок. Пахло жирным, вкусным. Я не заметил камелька, где Мюльдюн мог бы разогреть еду. С другой стороны, много ли я тут заметил?

– Вот, – повторил Мюльдюн.

Я взял у него стопку лепешек. Мои любимые, из корней сусака¹⁴. Наверное, мама в дорогу дала, чтоб мы хорошо кушали. Я – потому что расту, Мюльдюн – потому что очень уж вырос. Громилой, сказал бы дедушка Серкен. Отломив край лепешки, я обмакнул его в миску. Ум-м-м! Пальчики оближешь! С детства люблю жеребчий костный мозг. На кухню приносили лучшие кости, оставшиеся от трапез, слуга Эллай колол их мелко-мелко, чуть ли не в пыль, и мама варила этот съедобный порошок – долго, очень долго, а потом квасила для лучшего запаха и замораживала кусками. Я обожал грызть эти куски, когда они слегка отогревались, а еще лучше, с горячим брусничным отваром. Они таяли во рту: вкуснотища! Но и так ничего, похлебать из миски.

– Ты будешь? – спохватился я.

Есть первым при старшем брате – не по обычаю.

– Я сыт, – Мюльдюн сел, скрестил ноги. Делать себе пуховую лавку он не захотел. И окошко не провертел. Должно быть, насмотрелся вдосталь. – Давай, наворачивай.

В его устах это прозвучало самой отъявленной братней лаской, какая есть на свете.

«Ешь, сильный, – согласился мертвый Омогой. – Остынет.» Никуда он не делся, стоял у меня за спиной. Я и не заметил, когда он вошел за нами в облако. Мстительный дух? Тогда почему я его не боюсь? Будь Омогой духом, жаждущим мести, ходил бы за Мюльдюном.

¹⁴ Болотное растение. Из корней сусака делали муку и пекли хлеб.

Или забрался в меня и превратился бы в лихорадку. Жрал бы изнутри, причмокивал. На месте Омогоя я бы так и сделал. Плохой я, наверное, злопамятный.

– Тебе его совсем не жалко? – спросил я.

– Кого? – удивился Мюльдюн.

Я потянулся за второй лепешкой:

– Омогоя.

– Совсем.

– Если бы ты не приехал, он остался бы живой.

– Если бы я не приехал, он умер бы еще раньше. Ты сломал бы ему спину. И это я сейчас бы спрашивал: «Тебе его совсем не жалко?» А ты бы давился едой и плакал от безнадёги.

– Я бы не плакал! – возмутился я.

И вдруг понял, что я сказал.

– Уже лучше, – кивнул Мюльдюн. – Сильным можно завидовать. Сильных нельзя задевать. Твоему Омогою следовало выучить это назубок, если он хотел дожить до старости. Запоминай, тебе тоже не повредит.

Впервые я слышал, чтобы Мюльдюн-силач говорил так много за один раз.

Нас затрясло. Облако подпрыгнуло, провалилось, пошло шаткой рысью. Хорошо, что я уже доел, а то, небось, облился бы. В окошке мелькнул разинутый рот: багровое нёбо, пышущий жаром провал глотки, язык – жутковатый, весь в бороздах, покрытый блестящей слизью. Рот надвинулся, словно кто-то хотел проглотить нас, клацнул зубищами – и улетел назад, далеко-далеко, позволяя рассмотреть своего хозяина. Великан Буксат-Хара сидел на корточках, мертвой хваткой вцепившись в три опорных кольца мироздания. Нет, иначе – в кольца он продел руки в боевых рукавицах и сплел пальцы в замок. Шлем сполз ему на лоб, но вожак заставы, охраняющей путь на небеса, терпел, не имея возможности поправить шлем. Отпусти он кольца хоть на миг, и – алатан-улатан! Отлетели, оторвались девять журавлиных голов! Короче, страшно подумать, что случилось бы. Уж я-то знаю! Нам дедушка Сэркен пел. Небеса всколыхнулись бы, земля закачалась бы, как лохань, в Нижнем мире открылись бы гибельные недра... Буксат-Хара, спасибо ему за службу, сильно косил: правый глаз боотура смотрел вниз, левый – вверх. Оба глаза мерцали зловещим красным огнем, как звезды в осенние холода. Рядом с Буксат-Хара облака темнели, набухали, превращались в тучи.

– Чуп-чуп! Чуп-чуп!

По тучам зайцем прыгал Ала Дяргыстай – ага, тот самый, что возил Мюльдюна в Кузню. Он кормил вожака слегка подкисшим молоком. Третий заставщик, молодой гонец Кюн Эрбийэ, передавал Дяргыстаю котелок за котелком, и кормилец с ловкостью, выдававшей большой опыт, не пролив ни капли, опрокидывал их в пасть Буксат-Хара. Тот кричал, шумно сглатывал – клянусь, я всё слышал! – отдувался и пыхтел. Смуглые щеки его пылали могучим румянцем. Улучив момент, Кюн Эрбийэ подхватил длинное копьё, что лежало у ног гонца, и раз! – поправил шлем великану. Буксат-хара благодарно моргнул и облизнулся, а Ала Дяргыстай помахал нам свободной рукой.

– Пусть расширится твоя голова! – донеслось до нас. – Пусть будет стремительным твой полет!

Нам желали счастливого пути. Ну, это я надеялся, что нам, а не только Мюльдюну. Если желают, значит, сбудется. Ведь правда? Знатные боотуры слов на ветер не бросают. И еще: впервые я сообразил, что избыток силы – скверная шутка. Посадят вот так держать кольца, и будешь пыхтеть до скончания времен. Все тебя знают, все уважают, песни о тебе поют. А как лоб почесать или там нос вытереть – проси товарищей.

Почешут, они добрые.

– Чуп-чуп! – таяло позади. – Чуп-чуп!

5. Сарын-тойон, Первый Человек

– Так нечестно!

Я чуть не плакал. Слезы обиды душили меня.

– Ты меня обманул! Мы же дома!

Ну да, вон луговина, где табунщик Ивачан летом пасет коней. Вон начинается взгорье, и ельник по краю. Река, где мы сетками ловили карасей. Берега, кручи, перекааты. Поселок, юрты. Поле для праздников. Березовая роща. А главное, вон наш дом. Что я, родной дом не узнаю?!

– Так нечестно!

– Дурак, – ответил Мюльдюн. – Глаза разуй.

Дом был наш, честное слово. А луговина, кажется, другая. И ельник старше, гуще. Местами в рыжину отдает. Над речкой ивы, осины. Выше – шиповник стеной. У нас там харас¹⁵ рос. Ягод – тьма! Мама харас молола, сметану им заправляла. Что это я, в самом деле? Разорался, как маленький... И все же – дом. Ну наш ведь!

...силою исполинов-творцов
Сотворенно построен был
Тринадцатистенный дом
Из цельного серебра,
Полный всяческого добра,
Равного которому нет...

– Это дом Первых Людей?

– Это дом Сарын-тойона, – буркнул мой брат. – Утрись, стыдно.

Он достал из-за пазухи кусок полотна, которым в жару повязывал голову вместо шапки. Не глядя, протянул мне. Виновато сопя, я вытер лицо. Будь стыд поклажей, я бы сквозь землю провалился. Прямо в Нижний мир!

– Спасибо.

Облако улетело. Мы стояли на пологой сопке, ждали невесть чего. Я уже намечал дорогу: через луг наискосок, мимо рощи, между юртами, напрямик в дом. Нет, сначала крикнуть, чтоб хозяева вышли. В гости не ломятся без приглашения! Или нас пригласили?

– Они знают, что мы тут?

– Кто?

– Первые Люди.

– Знают.

Теперь я и сам видел: знают. От рощи к нам ехал всадник на гнедой кобыле. В седле он сидел бодрячком, но поводья отпустил. Кобыла шла без понуканий, скорым шагом, словно она была главной по встрече гостей. Мне вообще показалось, что всадник спит. Когда он подъехал ближе, я понял, почему: если глаза закрыты, кого угодно примешь за спящего. Молодой, ровесник Мюльдюна, всадник опустил подбородок на грудь. Иногда он невпопад дергал веками, будто хотел взглянуть на нас – и не мог. Я и не знал, что у людей бывают такие веки – плотные, даже вроде бы чешуйчатые. И длинные – жуть! Верхние опустились низко-низко, ресницы касались скул. Может, это вообще не веки? Бельма? Дикое мясо?!

– Ну? – спросил всадник.

Голос у него оказался неприятным: низкий, хриплый.

¹⁵ Черемуха.

– Что ну? – удивился я.

И тут Мюльдюн меня ударил.

Хорошо, не ударил, хлопнул по плечу. От его хлопка я кубарем полетел на землю. Плечо болело, голова чуть не оторвалась. Вдобавок, падая, я ушиб бедро.

– Вставай! – велел мой брат.

Я встал. И опять упал – он ударил сильнее.

– Вставай!

– За что?!

– Вставай!

Я встал. Он ударил. Я упал.

– Вставай!

Плохой Мюльдюн. Плохой Мюльдюн.

Очень плохой Мюльдюн.

Я встал. Мюльдюн большой. Я большой. Мы вровень. Нет, я больше. Мюльдюн меньше. Маленький. Я – бёгё. Юрюн-бёгё. Я силач. Он меня бьет. Я его не бью. Почему? Вот, опять ударил. Падаю.

– Вставай!

Я больше. Он меньше. Сейчас ударю.

– Хватит!

Окрик всадника плетью хлестнул по Мюльдюну. Мой брат отступил назад, и вовремя: мой кулак чудом не попал ему в лицо. Промаяхнувшись, я потерял равновесие. Едва не рухнул ничком, затоптался, приходя в себя. Мой брат. Мой кулак. Даже думать о таком не хотелось. Мюльдюн опять становился больше; нет, это я усыхал.

– Так надо, – сказал Мюльдюн.

А я слышал: извини.

– Давай, – сказал всадник. – Я всё увидел.

Не верите? Честное слово, он так и сказал: я, мол, всё увидел. Мюльдюн полез в тючок, который мне собрала мама, достал медную пластину размером в две ладони. Не мое, подумал я. Брат мой, кулак мой, тючок мой. Откуда пластина? У меня отродясь никаких пластин не было. Плечо уже не болело, и бедро, и вообще. На мне все заживает, как на собаке. Ну хорошо, как на боотуре.

– Ближе, – всадник поманил Мюльдюна. – Иди сюда.

Мюльдюн подошел. Всадник сбил на затылок шапчонку – смешную, круглую, с бере-
стяной трубочкой, откуда торчал пучок конских волос. Наклонился вперед, подергал своими
жуткими веками и уставился на медную пластину. Мюльдюн поднял ее, чтобы всаднику было
удобнее смотреть. Я остолбенел – еще бы, зрячий слепой! – и пропустил момент, когда на пла-
стине начали появляться значки.

Ряд. Другой.

Третий.

– Интересно? – спросил меня всадник. – Кузнецу тоже будет интересно, уверяю тебя.

Значки словно выжигались на меди. Разговаривая со мной, всадник не отворачивал лица
от пластины. Пятый, шестой ряд значков, и на пластине не осталось свободного места.

– Весь ты, дружок, от макушки до пят, – всадник указал на пластину. – Юрюн Уолан,
боотур, третий сын Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун. Расширение, усыхание, скорость реакций.
Возрастная зависимость от процесса. Не понимаешь? И ладно, твой брат тоже не понимает.
Хорошо хоть, знает, что так будет лучше.

– Так будет лучше, – подтвердил Мюльдюн.

– Ала Дяргыстай привозил тебя сюда! – догадался я.

Мюльдюн кивнул.

– Перед Кузней! Он тоже бил тебя?

Мюльдюн кивнул.

– А ты его? Ты его бил?

Мюльдюн нахмурился.

– Нет, – за Мюльдюна ответил всадник. – Я останавливаю вас, прежде чем вы сцепитесь. Обычно я успеваю.

– Всякий раз?

Язык мой – враг мой. Куда я вечно лезу?

– Увы, дружок, – всадник повернулся ко мне. В уголках его плотно зажмуренных глаз играли морщинки: веселые, грустные, странные. Вопрос не обидел его, напротив, показался забавным, а может, уместным. – Были случаи, которых я стыжусь. К счастью, те, кто считает полезным заехать ко мне перед Кузней... Скажем так, они лучше тех, кто считает иначе, или вовсе разучился считать. Давай знакомиться, Юрюн Уолан. Знаешь, кто я?

– Сарын-тойон! Вы – Сарын-тойон, Первый Человек!

– Да ты, я гляжу, умница?

– А почему вы такой молодой? Я думал, вы старик, вроде дедушки Сэркена...

Сарын-тойон расхохотался.

– Честный парень, – отсмеявшись, бросил он. Наверное, похвалил, хотя я не уверен. – Простой честный парень. Люблю прямоту. Зови меня дядей Сарыном, дружок.

Позже, вспоминая нашу первую встречу, я много размышлял о том, почему Мюльдюн не расширился во время моих испытаний. Я ведь хотел дать ему сдачи! И, считай, дал, только промахнулся. Когда я узнал на собственной шкуре, каких трудов стоит боотуру усохнуть, если всё твоё существо требует расширения – мне стало ясно, что Мюльдюн обладал железной волей. Мало кто из наших может похвастаться этим. В частности, Ала Дяргыстай, колотя юного Мюльдюна – в скором времени Мюльдюна-бёгё – в присутствии дяди Сарына, набирал силу по мере того, как Мюльдюн откликался на его побои. Они росли вместе, битый и бьющий, и Сарын-тойону пришлось потрудиться, чтобы вернуть боотуров в исходное, безобидное состояние. Разум бессилён удержать телесную мощь на привязи. Да и куда он девается, бедняга-разум, когда боотур рвется в бой?! Нет, воля, одна воля, ничего больше.

Мне часто не хватает воли. Я заменяю ее упрямством.

6. Скажу: не бойся

– Ешь колбасу, Юрюн. Любишь колбаску?

– Угу.

– Вот тебе еще колечко...

– Умм...

Моя любимая колбаса: бычья кровь с молоком, и дикого лучка побольше. Моя любимая колбаса: в шкуру тайменя набить крошево вареной уткины, залить топленным жирком. Моя любимая колбаса: рубленая мороженная конина в говяжьей кишке. Я люблю колбасу люблю!

– Щавеля возьми, квашеного. Чтоб не пучило ночью...

Подперев щеку рукой, Сабия-хотун любовалась мной. Точь-в-точь наша мама – обожает, когда мальчик хорошо кушает. Только мама нас уже родила: и меня, и Мюльдюна, и Умсур, и крошку Айталын. А тетя Сабия – ей еще рожать и рожать. Вон какое пузо! Я и не знаю, как она вышла нас встречать. Стоит на пороге, улыбается, а сама руками в поясницу уперлась – чтобы легче было. Я чуть не спросил: зачем в поясницу? Как по мне, лучше снизу поддерживать. Будь у меня живот выше носа, я бы снизу взялся. И пальцы бы в замок сцепил, как Буксат-Хара с опорными кольцами мироздания. Небось, мироздание потяжелее младенчиков!

– Ребрышко возьми, с салыцем...

Голодный я – страсть! С чего бы? Взял ребрышко, грызу. Дядя Сарын с моим братом ушли куда-то, меня бросили. Воюй, велели, с едой! До победного конца! Воюю, радую тетю Сабия, а в голове расчеты веду. Сложные! «Юрюн Уолан, боотур, – сказал дядя Сарын. – Третий сын Сиэр-тойона и Нуралдин-хотун.» В общем, правильно сказал. Если с сестрами считать, я третий выхожу: Умсур, Мюльдюн, я. Крошка Айталын – четвертая. А если без сестер? Если одни сыновья? Тогда я второй, после Мюльдюна. Или всё-таки третий?

Как подумаю об этом, так сразу пучит. И щавель не помогает. И мертвый Омогой бубнит: «Ты третий, сильный? Или второй? Какой ты, сильный?» Уселся за спиной, надоеда: бу-бу-бу! Дать бы ему колбасы, чтоб заткнулся, так мертвые колбасы не едят.

– Сметанки налить?

– Спасибо, тетя Сабия. А вы шамана уже спрашивали?

– О чем?

– Ну, кто у вас будет? Девочка или мальчик?

– Двойня будет, Юрюн. И девочка, и мальчик.

– Хорошо, – рассудил я. – Родилась бы одна девочка, было бы обидно. А раз с мальчиком, тогда не обидно.

Она рассмеялась так, что чуть не родила. Охает, кряхтит, руками машет, а смех наружу рвется. Радует, значит. Я ей всё правильно объяснил, вот она и радуется. Бубенчики в косах звенят, заливаются. Бусы на груди пляшут, мечут искры. Шапка набок съехала, ленты бисером горят. Умеет радоваться тетя Сабия.

И мне приятно.

– Девочка вырастет красавицей, – произнес я громко, как здравицу. И чашку со сметаной поднял, вроде там кумыс. – А мальчик – боотуром.

– К сожалению, – согласилась тетя Сабия.

– К сожалению?

– Тут у нас с Сарыном нет выбора.

– Вы хотели сказать, к счастью!

– Конечно, Юрюн. Я хотела сказать, к счастью. А как же иначе?

Не выглядела она счастливой. Вот только что сияла, а вот уже и нет. Наверное, шаман что-то напророчил, дурное. Она просто мне говорить не хочет. Зачем гостя огорчать? Или живот у нее болит. Мама, когда Айталын носила, все время на живот жаловалась. Тошнило ее – ужас! Что ни съест, сразу... Ладно, это вам не интересно.

Она молчит, и я молчу. Мне молчать легче, я ем. Вроде как занят, при деле.

– Тетя Сабия, вы почему не едите?

– Не хочется, Юрюн.

– Это потому что вы ребеночков носите?

– Умница. Всё понимаешь.

Я успокоился. Точно, живот, не шаман. Представил себе: детки родились, выросли, по дому носят. Мальчик с Кустуром – ну, будет же у него свой Кустур?! – из лука стреляет. Лук справный, охотничий. Девочка маме по дому помогает. Дом как у нас. Тетя Сабия – как моя мама. Светится, радуется. Никого не замечает, кроме семьи. Дядя Сарын на веранде сидит, кумыс пьет. Ноги на перила забросил. Горами любит. Сын подошел: папа, ты занят? А он сыну: рад тебя видеть, сынок...

Не складывалось. Я все это представляю, а оно не представляется. Во-первых, дядя Сарын. Любуется горами с закрытыми глазами – это еще худо-бедно складывалось. Дядя Сарын, он такой. А дни напролет на веранде – не выходит. Ноги на перилах – ни за что. Должно быть, у меня воображение слабое. Во-вторых, тетя Сабия. Моя мама всю жизнь светится. Ну ладно, всю мою жизнь. До моей жизни я маму и не помню. Один раз погасла – это когда я ее

про брата спросил. «Было бы хорошо, если бы у тебя еще кто-нибудь родился. Ну, не сейчас, а раньше. Так у меня один старший брат, а так было бы два...» Один раз не в счет. А тетя Сабия мерцает. То светится, то нет. Говорит светлое, а сама темная. Короче, не моя мама.

Трудно с ней детям будет.

– Вы дочку стряпать обучите, – сказал я. Очень хотелось, чтобы тетя Сабия снова заулыбалась. Понравилась она мне. – Колбас наделаете, сметаны, шавеля заквасите. А сын вас защитит, если беда. Он подрастет, его в Кузню свозят, за доспехом. Враги от страха в штаны... Ну, испугаются сильно! Хотите, я его в Кузню отвезу?

– Сейчас? Давай завтра, хорошо?

Улыбается. Это я молодец.

– Завтра, тетя Сабия, меня в Кузню повезут. А когда вашему сыну срок придет, – удачно я ввернул про срок, по-взрослому, – я уже вырасту. Приеду за ним, скажу...

«Иди за мной, – вспомнил я слова Мюльдюна. – Всё, пора.» Нет, это грубо. Парень, небось, испугается насмерть, если я так объявлюсь, с бухты-барахты. Я Мюльдюна не испугался – говорю же, не испугался! – потому что он мне брат. А сыну тети Сабии я не брат. Надо иначе, с пониманием...

– Скажу: не бойся. У тебя брата нет, только сестра. Я тебе братом буду. И в Кузню отвезу, и вообще. Если беда, спасу. Сестру тоже спасем, вдвоем легче. А что? Обычное дело.

Вот, опять она плачет. И светится – аж смотреть больно.

– Ешь колбасу, – говорит. – Любишь колбаску?

Песня третья

*Доставайте из погребов,
Подымайте на белый свет
Грозное оружие боев,
Грозную стальную броню!
С древних лет я оружие ковал,
Для мести ожесточал,
Великими чарами заколдовал,
Так и рвется на битву оно...*

«Нюргун Боотур Стремительный»

1. Мы едем в Кузню

Едем пятый день.

Мюльдун все время молчит. Если я о чем-то спрашиваю, отвечает: «да», «нет» и «угу». Если этих слов не хватает – вообще не отвечает. На привалах оттаивает, делается настоящим балагуром:

- Костер разведи!
- Воды принеси!
- Садись есть.
- Ложись спать.
- Вставай!
- И наконец:
- Сегодня на месте будем.

Я и не думал, что так обрадуюсь. Боязно? Конечно, боязно! Только я уже устал бояться. Страх плечи надавил, я его и скинул.

Лошадей нам дал дядя Сарын. Мой жеребчик, пегий коротышка, послушно следует за вороным здоровилой Мюльдуна. Цок-цок, будто на привязи. Понукать пегого не требуется, остается лишь глазеть по сторонам. Я и глазею – а что прикажете? Головой туда-сюда верчу. Вчера я спросил Мюльдуна, почему мы на облаке прямо в Кузню не полетели? Быстрее же, на облаке-то! «Да», «нет» и «угу» тут не годились, вот брат и промолчал.

Я ему ответ подсказал:

- Ты мне Средний мир хотел показать, да?
- Угу.

Поговорили.

Когда мы из поселка выехали, я всё различия высматривал. Должна же ихняя земля от наших небес чем-то отличаться?! Много не высмотрел, врать не стану. На лугах трава по пояс. Ручей по камушкам звенит. Утки над рекой. Берега в осоке. По склонам гор – сосны да ели. Лиственницы еще. Вершины в дымке тают. Где люди живут, там юрты стоят. Зদেশние, правда, свои юрты белой глиной не мажут. Нету ее поблизости, вот и не мажут.

Вот скала – черная, блестит сколами.

- Мюльдун, а Мюльдун!
- Да?
- У нас на Небе такие скалы есть?
- Угу.

Лес в буреломах, не проберешься. Деревья мхом поросли, сыростью от них тянет. Под деревьями – сумрак, и хрустит в нем. Плохо хрустит, зловеще. Про лес я даже спрашивать не хочу. Зачем нам такие леса? Снова на приволье выехали: уруй-уруй! Речка по порогам скачет, пыль водяная в воздухе висит. Радуги перемигиваются – красота! Рощи березовые, светлые. Реки-змейки: выются, серебрятся под солнцем. На дубравах шапки кучерявые.

Осьмикрайняя, ты чудо!

Меня как подслушали. Горы сгорбились, присели на корточки. Назвались сопками, подкрались ближе, окружили. Сосны – редкая рыжая щетина. Трава выгорела, пожухла. Облака в ржавчине. И воздух гарью пахнет.

– Мюльдюн, а Мюльдюн!

– Да?

– У нас на Небе такая гарь есть?

– Угу.

Шутит Мюльдюн. Такого у нас на Небесах точно нет!

По берегам ручьев не растет ни былиночки. Вода – бурая мутная жижа. Пузыри лопаются, воняют. Ручьи слились в речку, вдоль нее мы и едем. Река виляет, и впереди, в излучине, нате-здрате – дом. Ну и дом! Домище, в два раза больше нашего. Сплошные углы, стены громоздятся друг на друга. Сколько их всего? Тридцать? Сорок?! Крыша из железных полос, покрытых окалиной. Уложены полосы вкривь и вкось. Местами окалина, как короста, отвалилась, и под ней тускло блестит металл.

Дом дрожит. Так дрожит горячий воздух в полуденную жару. Постройка то расплывается, то вновь собирается воедино, становясь неправдоподобно четкой. Стены норовят пуститься в пляс, каждая сама по себе. В окнах полыхают отсветы: багровые и синие. Из шестигранной блестящей трубы извергаются клубы густого дыма. Под крышей гремит гром. Лязг, уха-нье, земля трясется под ногами. Мой пегий беспокоится, стрижет ушами. А вокруг-то, вокруг! Всё измарала жирная копоть. Река несет хлопья сажки. В земле зияют угольные провалы. Дыры, глубокие ямы, а может, пути в Нижний мир, они курятся вонючей дрянью. Из дальних вырываются охристые языки пламени. Темнеет быстро, хотя до вечера еще далеко. Я задираю голову к небу, желая узнать, где сейчас солнце, и едва не вываливаюсь из седла. Солнце скрыли тучи, а небо – серо-стальное колесо! – ой, караул!

– Мюльдюн, а Мюльдюн!

– Да?

– Там наше небо...

– Знаю, – мой брат расщедрился на новое слово.

– Оно вращается!

– Угу.

– Почему?

– Три Мира.

– Что Три Мира?!

– Они тут сходятся.

– Но ведь крутится! Вертится!

– Это обод, – говорит Мюльдюн.

Косится на меня, жалкого балбеса, и уточняет:

– Обод Нижнего неба.

Голова у меня крепкая. Вот, уже не кружится. Но еще долго, не в силах оторвать взгляда, я смотрю на стремительное вращенье небесного обода. Меня засасывает туда – не домой, к папе с мамой, а в крошечную вертящую прорву. Когда же я возвращаюсь к делам земным, то вижу стократ худшее зрелище.

Ой-боой! Ой-ё-ёй!

От ужасного дома к нам бежит здоровенный черный адьярай!

2. Разве ж это брат?

Плохой адьярай. Плохой адьярай.

Очень плохой адьярай.

Вдвое больше Мюльдюна. Хромает, кособочит. Качается из стороны в сторону. Быстро бежит! Кричит, радуется поживе. Он нас убьет! Он нас съест! Нет, не убьет. Не на тех напал! Мюльдюн-бёгё – силач-боотур! Сейчас он тебе ка-ак даст! Ой! Мюльдюн без оружия. Совсем-совсем. Ножик – не в счет. Адьярай тоже безоружен. В рукопашную пойдем? Съесть меня хочешь? Ребра вырвать? Колбасу сделать? Я тебя заломаю! Я сильный!

Сильный, кивает мертвец за спиной.

– Эй! Усохни!

– Адьярай! Заломаю!

Не усохну! Я сильный!

– Это не адьярай. Усохни, Юрюн.

Адьярай! Не адьярай? Брат сказал. Мой брат. Смеется. Адьярай смеется. Не адьярай смеется. Хороший? Очень хороший? Рука на плече. Братняя рука. Отдыхай, молчит Мюльдюн. Усыхай. Мюльдюн – старший. Брата надо слушаться.

Я усыхаю.

У чудища две руки. Две ноги. Два глаза. Под глазами – мешки. Синие, набрякшие. Нет, не адьярай – те одноногие, однорукие, одноглазые. Человек. Громила. Стоит, хохочет. Нападать раздумал. Есть нас раздумал. Да он, небось, и не собирался!

Черный громила перестал хохотать. Он был не сам по себе черный – закопченный, как и всё вокруг. За год не отмоешь! Я стоял напротив громилы и глупо улыбался. Ну да, стоял. На земле. А что? Обычное дело. Сидел верхом на лошади, а теперь на земле стою. Где мой пегий? Да вот же он! Пляшет шагах в двадцати, фыркает. Когда я вырос для драки, ноги из стремян выскользнули и в землю уперлись. А жеребчик, не будь дурак, из-под меня вывернулся и ускакал.

Ничего себе я расширился!

– Это брат, что ли? – спросил громила у Мюльдюна.

– Брат.

– Разве ж это брат? – возмутился громила.

Он явно расстроился.

– Брат! – Мюльдюн сделался чуточку больше.

Что значит: «брат – не брат»?! Брат я Мюльдюну. Родной! Единственный! Роднее не бывает. Или не единственный? Сперва Омогой, теперь этот черный...

– Мне доложили, ты брата везешь. Я обрадовался. Вот, думаю, наконец-то! Давно с ним поработать мечтал...

– Это мой брат, – с нажимом сказал Мюльдюн. – Юрюн Уолан.

Он дождался, пока громила прожует обиду, и повернулся ко мне:

– А это, Юрюн, мастер Кытай Бахсы.

– Кузнец? – ахнул я.

– Угу.

Вот это да! Выходит, мы уже приехали? Жуткий дом-гром – знаменитая Кузня?! А копчёный громила... Одеждой кузнецу служил промасленный фартук из толстой бычьей кожи, надетый прямо на голое тело. Таким фартуком шалаш накрывать, от livня. С трех быков шкуры содрали, или даже с четырех. На фартуке темнели многочисленные пропадины. Голые плечи

кузнеца были изуродованы шрамами от ожогов. Под слоем копоти, и то видно. Предплечья – тоже. Ох, и руки у него! Ручищи! Жилами перевиты; кожа – кора, пальцы – сучья...

– Здравствуйте, мастер Кытай! – опомнился я.

Кузнец изучал меня с ног до головы. Так охотник, мечтавший добыть лося, уговаривает себя, что тощий заяц – вполне годная добыча.

– Всё ли у вас хорошо? Все ли здоровы?

– Всё, – ухнул кузнец. На вид он был мрачней ночи. – У меня всё хорошо.

Словно подтверждая сказанное мастером Кытаем, из-под земли ударил вопль:

– Аай-аайбын! Ый-ыйбын!

– Что это?! – подпрыгнул я.

– Аай-аайбын!

В недрах что-то шмякнулось. Земля под ногами ощутимо качнулась:

– Ый-ыйбын!

– Уймись! – гневно откликнулся старушечий голос. – Не беснуйся!

– Ыыыы-ый!

– Запру!

И снова – шмяк!

– Аай-аайбын!

– Запру! Запру окаянную!

– Это старуха моя, – с отменным равнодушием сообщил кузнец. – Дочку вразумляет.

Ну что, гости дорогие? Айда в дом?

– Доспех подбирать? – не выдержал я. – Правда, мастер Кытай?

– Да уж подберем...

– Шлем? Меч?

– Да хоть зубочистку...

Он побрел к Кузне, нимало не интересуясь, следуем мы за ним или нет. Налетел порыв жаркого, несущего гарь ветра, растрепал седые волосы Кытая. Взметнулось над головой кузнеца облако тусклого серебра. Хоть садись на него верхом и лети домой, к любящим родителям. Я поймал своего пегого за узду и поплелся, куда велели. Рядом шел Мюльдун, ведя в поводу вороного.

Брат молчал. Ну, и я молчал.

Разочаровал я кузнеца, сразу видно. Он, небось, думал: этот парень здоровый, как Мюльдун. Громила! Хотел мастерство показать, самый лучший доспех подыскать Юрону-боотуру. А я не громила вовсе. Вот Кытай и заскучал.

«Разве ж это брат?» – слова кузнеца вились вокруг меня роем кусачих пчёл. «Где брат твой, айы?» – поддакивал из-за плеча мертвый Омогой.

Под землей опять завопили.

Мы прошли рядом с дымящейся ямой. Я от большого ума заглянул в нее, но ничего толком не рассмотрел. Дым, чад, темень. Есть там дно, нет – спросите чего попроще. Ямы, где полыхал огонь, мы оставили в стороне. Жар оттуда валил: ой-боой! Неудивительно, что у мастера Кытая брови-ресницы обгорели. И борода с усами. Остатки торчали ржавой щетиной, как на заливке у взбешенного кабана.

У меня, наверное, и нос сторел бы, и губы, и уши.

Перед Кузней высился столб коновязи. Резной, из лиственницы, с лошадиной мордой на верхушке. В углубления резьбы на веки вечные въелась сажа. Я вздохнул с облегчением: не всё тут у них из железа. Мы привязали пегого с вороным, и Мюльдун извлек из-за пазухи медную табличку со значками:

– Сарын передал.

Кузнец погрузился в размышления. Кусал губы, морщил лоб, чесал в затылке. Табличка заняла его внимание целиком.

– Понял, – кивнул он наконец.

И обернулся ко мне:

– Жди здесь. Мюльдюн, ты зайди. Разговор есть.

Заскрипела, лязгнула дверь. Я остался один.

Тут она и объявилась.

3. Ыый-ыйбын! Ай-абытай!

– Куо-Куо.

Откуда она выбралась? Не из-под земли же! Стоит, пялится на меня, косу тербит. Коса длиннющая, до коленок. Платье из мягкой ровдуги, с вышивкой. Бляшки, висюльки, обереги. Нарядное платье, жаль, сажей замарано. Да и сама она... Не такая копчёная, как Кытай Бахсы, но тоже...

Подкопченная.

Лицо припухло, будто со сна. Левый глаз косит. Сколько весен ей – не поймешь. Семнадцать? Двадцать? Двадцать пять?! В общем, взрослая.

– Куо-Куо!

Разве люди так разговаривают? Так лягушки в болоте квакают!

– Чего?

– Куо-Куо!

Пальцем в грудь себе тычет. Это я, мол, – Куо-Куо¹⁶. А грудь-то вся нараспашку! Стыдоба! Я поскорее отвернулся, чтоб не смотреть. Раскрасавица? Кто ж тебя имечком-то наградил? В насмешку, не иначе!

– Здравствуй, Куо-Куо. Я Юрюн Уолан, сын Сиэр-тойона.

– Юрюн Уолан! – она захлопала в ладоши. – Юрюн Уолан!

Закружилась в танце, подпрыгивает. Взбила к небу пыльный вихрь. Ожерелья звенят, коса мелькает. Пушистым кончиком меня по лицу: раз! И опять: два! Девчонка, честное слово!

– Юрюн! Юрюн Уолан!

И вдруг замерла, лицом ко мне:

– Юрюнчик! Уоланчик!

Пыль тихонько оседала. Я попятился, а она взяла и облизнулась. Съесть меня решила, что ли? Язык у нее – жуть! Длинный, розовый, влажный. У меня под ложечкой ёкнуло. Да ну, откуда в Кузне людоедка! Это я, болван, страстей навывдумывал...

– Пойдем, Юрюнчик! Пойдем, Уоланчик!

Она придвинулась ближе. Я с трудом удержался, чтобы не дать дёру. Хорош боотур – от чужой служанки шарахается! Скоро от мышей бегать начну!

– Куда?

– В конюшню пойдем. С Куо-Куо.

– Лошадей в конюшню отведем?

– Лошадей?

На лице ее отразилось недоумение. Впрочем, она быстро заулыбалась:

– Юрюнчик Уоланчик с Куо-Куо отведут лошадей. В конюшню!

И хихикает, дурочка.

¹⁶ Куо – Красавица. Куо-Куо – Дважды Красавица, Раскрасавица.

Мы отвязали коней и повели в обход Кузни. Куо-Куо шла впереди, показывала дорогу. На каждом третьем шаге она оглядывалась на меня. «Ты здесь? – спрашивал ее взгляд. – Ты никуда не делся?»

Да что я, маленький? Не потеряюсь!

В конюшне пахло сеном, навозом, лошадиным потом. Вездесущий запах гари тут почти не чувствовался. У входа было светло, а в дальнем конце сгущался мрак. Там всхрапывали, фыркали лошади. Сколько, какие – не разглядишь. наших мы завели в ближние стойла – они пустовали. Воду в поилки кто-то уже налил. Надо бы корму задать, подумал я.

– Сено у вас где?

Куо-Куо торчала у входа. Загораживала свет.

– Сено? А, сено. Мягкое!

Вот, опять облизывается. Губы у нее сохнут, что ли?

– Тут есть сено. На сене будет хорошо.

И бегом ко мне. Я – назад. Споткнулся, чуть не упал. А она схватила меня, облапила: крепко-крепко! Шепот горячий, как из той ямы с дымом. В самое ухо:

– Красавец мой! Суженый-ряженный!

– Ты чего?

– Жених Куо-Куо! Женишок ненаглядный!

– Чего ты?!

Я бы вырвался, честно. Да у нее хватка – куда там Омогою!

– Отстань! Какой я тебе жених?!

– Жених Куо-Куо! Жених! Станем вместе спать, детей рожать!

Влажное, горячее скользнуло по щеке. Язык! Ее язык! Фу! Мне было жарко, тесно, стыдно. Девка тискает меня, лижет, как взбитые сливки, а я, боотур – ну, боотур же! – высвободиться не могу! Бросило в жар, коленки подогнулись. Сердце зашлось: кэр-буу! Того и гляди, выпрыгнет! Пойдет скакать лягушкой между стойлами...

Да ладно вам ухмыляться! Всё я знал, всё понимал. Сколько раз видел кобылу с жеребцом, корову с быком, сучку с кобелем. Тут ведь в чем главная мерзость? Кобыла с жеребцом – ладно, но ведь не кобыла с жеребенком! Я вам кто? Не та беда, что годами мал, а та беда, что я – сын Сиэр-тойона! Против закона это! Против обычая! Хоть кричи: «Папа, на помощь!» А что? Он услышит, обычное дело.

– Сдурела?! Отцепись!

– Жених!

– Отстань от меня!

Ага, разбежался! Держит, не отпускает. Бормочет всякий бред. Я – ее жених, скоро свадьба. Ляжем в постель, я на нее взберусь, детишек настрогаю... А рука своевольничает, лезет мне под кафтан, под рубаху, в штаны.

– Не трогай! Нельзя там трогать!

– Можно, Юрюнчик...

То, что трогать нельзя, под ее пальцами расширилось. Наверное, в бой собралось. Я тоже сделался больше. Плохая Куо-Куо! Очень плохая! Нельзя там трогать! Вон иди!

Толкнул. Вырвался.

Сумел.

– Боотур-удалец! Хорошо нам будет!

Я заставил себя усохнуть. Пришибу же! Омогою спину не сломал, так этой дурище сломаю. Усыхать было трудней трудного. Боотур во мне противился, возражал, стоял насмерть. Если просто Юрюн знал, чего хочет от него Куо-Куо, и старался держать себя в руках, то Юрюн-боотур ничегошеньки не знал и знать не желал. Он и корову, наверное, с быком не видал, и кобылу с жеребцом. Хватают? Бей! Давят? Бей!

Морока мне со мной!

– Трогай меня! Нюхай меня!

Она плясала, кружилась, пела, радовалась. Бросилась на меня – я увернулся, ногу подставил. Она упала в сено: лежит, смеется. Из платья до половины вывернулась, трясет сиськами:

– Иди ко мне!

– Я хапсагай знаю! – кажется, я опять расширился. – Заломаю тебя!

– Хап-хап! Сагай-сагай!

– Дура!

– Хапай Куо-Куо! Хапай и сагай! Сагай, сагай, до утра сагай!

Я к выходу, а она следом – прыг! Схватила меня. А я – её. Боремся. Швыряю её. Толкаю её. Плохая Куо-Куо! Очень плохая! Заломаю...

В конюшне стало темно. Куо-Куо исчезла: бац, и нету. Заржал пегий в стойле. Куо-Куо откликнулась из другого стойла:

– Аай-аайбын!

Я усох и всё понял. Это она из-под земли орала, когда мы приехали. Выходит, Куо-Куо – дочь Кытай Бахсы?! Я-то думал – прислуга... А вот и мастер Кытай: раскорячился в дверях лесным дедом, свет загородил. Убьет он меня, и правильно сделает. Решит: я его дочку сюда затащил, пристаю...

– Усохни, Юрюн, – прогудел кузнец. – Все в порядке.

– Я уже, мастер Кытай. Уже усох.

– Ну и молодец. Других не уговоришь, а ты сам...

– Я её... она меня...

– Усыхай, не переживай. Я ее утихомирю.

Ее, не меня! Прямо с души отлегло. У меня, если верить дедушке Сэркену, три души, вот со всех трех и отлегло. И зря – рано обрадовался.

Кузнец шагнул в конюшню, за косу вытащил Куо-Куо из стойла. Та верещит, отбивается, ногами дрыгает, а он ка-ак даст ей кулаком! По ребрам, по лицу! У нее кровь из носа хлещет, она орет: «Ыый-ыйбын! Ай-абытай!» – а он лупит и лупит!

– Мастер Кытай! Мастер Кытай!

– Ай-абытай!

– Не надо! Вы ж ее убьете!

Кулак завис на взмахе – молот над наковальней. Эх, вечно я не в свое дело лезу...

– Не убью, парень. Я меру знаю.

– Точно?

– Ага. Куогалдыма Куо – девка крепкая. Привыкла.

Я в первый момент не сообразил, о ком это он. Ага, это дочку так на самом деле зовут: Куогалдыма Куо. Куо-Куо, небось, сама придумала, для пущей красоты.

– Будешь еще к парням приставать, бесстыжая?

– Не бу-у-у...

Куо-Куо скулила побитой собакой. Мне было ее жалко. А отцу, похоже, ни капельки.

– Смотри у меня! Еще раз застану...

– Не бу-у-у...

– В подвал бегом! Сиди, пока гости не уедут!

Кузнецова дочка натянула на себя платье, измаранное в крови и пыли. Бочком-бочком проскользнула к выходу мимо грозного Кытая. Она явно опасалась, что отец наподдаст ей для лучшей памяти, и он-таки наподдал! Сапогом пониже спины. От отцовского пинка Куо-Куо птичкой улетела за дверь.

– В подвал! – гаркнул вслед кузнец.

– Не бу-у-у...

– Только попробуй вылезти! На крюк повешу!
– Не бу-у-у...
– Не будет она, как же... – пробормотал мастер Кытай. – Сучка брехливая! Ты, парень, не бери в голову. Она ко всем боотурам цепляется. Отбил, и ладно. Ну, пошли, что ли?
– В Кузню?!
– Куда ж еще? Хотел доспех? Шлем, меч?
– Хотел! То есть, хочу... Очень хочу! И еще лук!
– Иди за мной. Выбирать будешь.
– Я сам?!
– А кто ж еще?
И мы пошли в Кузню.

4. Всё, что захочешь

В Кузне комнат оказалось – больше, чем у нас! А коридоров и вовсе уйма. На тяжелые шаги хозяина пол отзывался металлическим гулом, прогибался и лязгал. Стены тут и там украшали всякие забавные штуки. Коробá с огоньками-моргунками, вроде нашего камелька. Узловатые блестящие корни; пучки тонюсеньких прутиков. Мутные окошки, в которых ничего не разглядишь. Скользкие на вид наросты, вроде грибов, политых маслом. Я на эти диковины засмотрелся, не заметил, как мы пришли.

– Выбирай, – мастер Кытай пропустил меня вперед. – Не стесняйся.

Я шагнул за порог и встал, разинув рот. Вот это да! Мечи, луки, шлемы, копыя, палицы! Вся комната оружием заставлена, от пола до потолка. Новенькое, блестящее, будто вчера кованное. И не навалом, как попало – лежит аккуратненько, одно к одному.

– Это ваша работа, мастер Кытай?

– Чья ж еще?

– Ну вы и мастер! Самый лучший в Осьмикрайней!

И ничего я не подлизывался! Что думал, то и сказал.

– Ты еще настоящей моей работы не видел, – усмехнулся кузнец. Я знал: ему приятно. Я только не знал, почему от его улыбки мне неприятно сделалось. – Ничего, всему свое время. Выбирай, говорю.

– Всё, что захочу?

– Всё, что захочешь.

Он собрался уходить.

– Подождите, мастер Кытай! – спохватился я. – Я ж обратно дорогу не найду! У вас тут дремучей, чем в лесу...

– Как подберешь, нажми вот тут, – он показал на гриб с красной шляпкой, росший из косяка двери. – Я за тобой приду. Или пришлю кого-нибудь.

И ушел. А я остался.

Мне часто снится этот день. Память режет его на куски, как нож – колбасу, и предлагает мне: хочешь кусочек? Не хочешь? Ну, возьми другой, с краешку! Реже мне видится Куо-Куо, чаще – бегущий к нам с Мюльдюном черный адьярай. Иногда куски сна слипаются вместе: я уступаю домогательствам Куо-Куо... А что? Обычное дело. Один и тот же сон может сниться по-разному, если ты вырос и хорошо понимаешь, чего от тебя хочет несчастная дурочка. Короче, во сне история принимает другой оборот, и нате-здрасте – в самый ответственный момент к нам бежит черный адьярай. Представляете мою радость? Добавлю, что Куо-Куо сразу превращается в Мюльдюна. Но чаще всего я вижу оружейную. Я, Юрюн-взрослый, стою рядом с Юрюном-мальчишкой: невидимка, призрак, способный лишь вздыхать и размышлять. Сейчас я знаю многое, чего не знал тогда. Я закован в знание, как в доспех, я воору-

жен знанием до зубов. Я знаю столько, что даже могу представить, сколько всего я не знаю! Мне известно, почему юному боотуру ничего не рассказывали про Кузню до приезда сюда. Для меня не составляет тайны, зачем Кытай Бахсы приводит детей в оружейную, а главное, с какой целью он сразу же удаляется, оставляя взъерошенных гостей наедине с убийственными сокровищами: «Выбирай! Все, что хочешь!» И дети выбирают, хватают, гребут обеими руками. Скоро, очень скоро Юрюн-мальчишка начнет приобретать знания, делая первые шаги на пути ко мне-взрослому. А пока ему отказано в бесплодных размышлениях, зато дозволено в восторгах. По правде, я наслаждаюсь его бесхитростной радостью. Вы слышите? Да, это он кричит, брызжа слюной, словно обжора при виде лакомства:

– Меч!

Будущее отступает в тень. Дает место настоящему.

– Первым делом – меч!

Вот они, мечи. Короткие хотоконы, длинные батасы. Выстроились рядами в стойках, ждут хозяина. Блестят-подмигивают, умоляют наперебой: возьми! меня! нет, меня! Тусклые, чуть изогнутые болоты¹⁷ тяжелы даже на вид... Отлично! Истинный боотур врага мечом наполам рубит! Взял я болот, вернул на место, взял другой. Махнул для пробы – чуть запястье не вывихнул. Вот зараза! В руке рыбой вихляется, вывернуться норовит. Батас полегче, и рукоять не в пример удобней. Махнул им – батас аж присвистнул от удовольствия: бери меня, не пожалеешь!

– Кырык-кырык!

Так тому и быть. Беру! Полюбовался я на свой – свой!!! – меч, махнул еще пару разиков и отнес к двери, у стеночки поставил. Теперь – что? Шлем?

– Доспех!

Этого добра тут хранилось – завались! На целое войско хватит, и еще останется. Панцири-куяхи: цельнокованные, с полировочкой, с узорчиками, и кожаные, с бляшечками, и рыба чешуя из пластиночек внахлест, и хитрость-громадина из не пойми чего... У меня глаза разбежались! Много ли нам надо? Много! Чтоб красивый, и по размеру, и прочный. И железный, железный! В коже пусть чагары-наемники ходят! В ольховых прутнях – бедняки-ополченцы! Копыт конских нарежут, навесят – и ладно им, чумазым! А я кто? Я – боотур из солнечного рода айыы! Ну хорошо, вот-вот им стану.

Вооружусь и стану!

Берем кожаный поддоспешник – не голяком же доспех примерять? Берем панцирь: на груди – серебряный кюн¹⁸, внизу – юбочка с разрезами. Как на коне без разрезов скакать? Берем боевые рукавицы. Оплечья берем: две пары. Ну вот, ничего страшного в этой Кузне нет: сам выбираешь, сам примеряешь. А ввали-то, ввали: и в доспех тебя силком запихнут, и колотушкой по шлему дадут, чтоб налез...

– Брехуны!

Брехуны, соглашаюсь я-взрослый. Мне снится сон, и я смеюсь – так, чтобы мальчишка не услышал. Прекрасный выбор, малыш. Замечательный доспех. Сел, как влитой. На тебя, молокососа. Сколько тебе лет, Юрюн Уолан? Кому из нас двоих еще предстоит расти и расти? Забыл?! Ну и ладно, ты забыл, а я не стану напоминать. Зачем портить праздник? Кричи, парень, радуйся.

– Наручи! Поножи! Шлем!

Шлема показалось мало. К нему я взял превосходные чарапчы¹⁹ с застежками на затылке. Ножи. Три штуки. Вдруг один сломается, а другой потеряется? Палица. Щит. Чудо-щит!

¹⁷ Болот – палаш без гарды. Напоминает шашку.

¹⁸ Кюн – солнце. В данном случае – зеркало, нагрудник, деталь доспеха.

¹⁹ Чарапчы – железные очки для защиты лица.

Ни одно копьё не пробьёт. Да, копьё. Вот ты, моё славное. Коли, мечи, древком лупи – бойся, враг! Наконечник узкий, граненый. Острый-преострый! Чудо-копьё! Любой щит пробьёт. Что теперь?

– Лук!

В доме по-прежнему грохотало, стучало, брякало. Противно взвизгивал напильник. В стенах стрекотали кузнечики, жужжали шершни. Звуки тут были тише, чем снаружи. Я быстро перестал обращать на них внимание. Лишь к тому, что пол под ногами дрожит, привыкнуть не сумел. В итоге не привык – притерпелся.

Лук я выбирал дольше всего. А что? Кто ворону в глаз лупит? Значит, и лук нам нужен не абы какой. В оружейной абы каких луков не хранилось. Раньше я бы любой схватил, не глядя, но раз уж позволили выбирать... Все луки боевые, клеенные из пяти-семи слоев, с накладками. Ух ты! Вот это да! Лук-лучище едва ли не целиком из костяных пластин собран. В середине, в самой сердцевине – темное дерево или металл, не разберешь. Огромный – выше меня. И тугой. Ох, тугой! От злости я расширился, но натянуть это чудовище не смог. Нет, не мой лук. Жалко. Такой и Мюльдун-силач не натянет. Для кого ж его сделали-то?!

– А ты чей будешь?

Твой, ответил лук-сосед. Он – единственный из всех! – был окован сияющей красной медью, а под ней туго обтянут кручеными жилами. В оковке – прорези, в них видно: семь слоев, один к одному. Сердцевина – знакомый металл-дерево. Рога точеные, с резьбой, тетива тоже жильная. Натяну? Не натяну? Взял я лук, подержал и даже попробовать натяжку не стал.

– Мой! Ты мой!

Твой, повторил лук. Чего орешь, дурачина?

Набрал я стрел с орлиными перьями. Сложил их в колчан. Две тетивы про запас, петли – тетиву крепить; налучник – таскать в непогоду... Вроде, всё? Братцы, как же я это добро отсюда уволочу? Ну, доспех на себя надену, шлем – тоже... Ага, вспомнил! Есть такие обода-кольца, они на спину цепляются. В них оружие засовывают и поклажу, если приспичит. Вот вы где, колечки! Прикрепить обода к доспеху у меня не получилось – ничего, Кытай Бахсы приладит.

Я надавил на гриб с красной шляпкой.

Где-то зазвенело.

5. Мастер Кытай работает

Вместо мастера Кытая пришел человек-тень. Бочком скользнул в оружейную: блеклый, тусклый, одет в серое. Лица толком не разглядишь. Сперва он показался мне плоским, как лента бересты. Но человек повернулся ко мне, и я выдохнул с облегчением: померещилось.

– Здравствуйте!

В ответ он молча кивнул. Приладил к доспеху обода с днищем – про днище-то я, балбес, забыл! – загрузил оружие мне за спину и пошел впереди, указывая дорогу.

Немой, что ли?

Вел он меня не туда, откуда мы с кузнецом явились. Окончательно я в этом уверился, когда человек-тень распахнул передо мной великанскую, глухо лязгнувшую дверь и посторонился, пропуская вперед. Слилс я с тенью двери, растаял: вроде бы есть, а где, как, кто – спросите чего полегче! Ну и ладно, главное в другом – за дверью была кузня! Настоящая! Кытай Бахсы работал здесь, это я сразу понял.

Тут и младенец бы понял!

В дальнем конце пылал горн. Пламя гудело, ярилось, бесновалось. В огненную пасть запросто въехал бы мой брат Мюльдун верхом на коне. Кстати, Мюльдун – вон он, правда, без коня. Стоит слева от горна и смотрит на меня. А мастер Кытай – справа, и тоже смотрит.

– Заходи! – велел кузнец.

– Ага, иду.

Вдоль стен тянулись полки с заготовками и инструментом. Молоты, молотки, молоточки. Клещи, щипцы, зубила. Напильники. Железяки, каких я сроду не видывал. Сюда бы нашего Тимира-кузнеца! Хотя нет, лучше не надо. Тимир, небось, от зависти сразу и помер бы. Пол был завален ржавыми опилками и стружками. Они гадко скрежетали под ногами. А перед горном высилась наковальня: блестящая, без малейшего следа ржавчины. Громадина – чистый тебе стол на две дюжины человек, клянусь!

На наковальне играли кровавые блики.

– Ну-ка, покажись, Юрюн-боотур!

Я показался. Забрэнчал, застучал, звякнул.

– Молодец, – одобрил кузнец. – Мюльдюн-бёгё, пора бы тебе выйти прочь.

Не переча, мой брат оставил нас.

– Выбрал, – сказал я мастеру Кытая. Что еще сказать, не знал, а молчать было неловко. – Спасибо большое!

– Рано благодаришь.

– Почему?

– Полработы не хвалят. Ложись!

И указывает на наковальню.

– Прямо сюда?!

Зябко стало – при горящем-то горне! Ну, раз так положено... Я вздохнул и полез, куда велели. Высоко, скользко. Полированная она, что ли? Забраться на наковальню в доспехе, с оружием за спиной – адова работенка! Я едва не свалился.

– Щит. Копье. Лук.

– Я...

– Возьми всё, что выбрал.

– Всё-всё?

– Да.

Пришлось слезть, взять щит с копьем, лук – и вскарабкаться по новой.

– Щит на левую руку. Копье в правую.

Лежу, боотур боотуром, на наковальне. Доспешный, значит, и вооружен до зубов. Устроился на боку, пялюсь в стену. На спину-то не лечь, там у меня обода со всяческим добром. Я лежу, а ко мне люди-тени – шась! Я их увидел только теперь, когда они зашевелились. Идут по опилкам, а опилки не скрипят, помалкивают.

Узловатые ручищи кузнеца придавили меня к наковальне.

– Мастер Кытай! Что вы делаете?!

И слышу в ответ:

Положите горой перед ним
Оружье, что изготовили мы,
По плечу примеряйте
Кольчугу ему,
Облачите его
В боевую броню!

Лицо кузнеца нависло надо мной: складки, морщины, рот оскален. В отсветах пламени черты Кытая Бахсы, и раньше не слишком приглядные, горели и плавись. Вот-вот прольются дождем раскаленного металла! Разверзлась черная пещера рта, сверкнули клыки из железа, похожие на сошники плуга:

– Держите его!

Меня схватили за руки, за ноги. Чудом я исхитрился вывернуть шею: алатан-улатан! Вокруг – тени, тени, тени. И все с инструментом наизготовку! Кузнечные клещи сомкнулись на моих лодыжках и запястьях. Я рванулся, но тени держали крепко.

– Отпустите меня!

Тени молчали. Лицо кузнеца вознеслось, вознесся и я.

– Куда вы меня тащите?!

Вышло много черных людей,
Выше лиственниц,
Черней их теней.
Люди-тени пришли,
Из тьмы принесли
Оружье и доспех боевой;
Хватило бы оружия того
На долгую тревожную жизнь
Трех мощных богатырей...

Надвинулся гул пламени, превратился в рев. Ударил нестерпимый жар. Горн! Они волокут меня в горн! Я сейчас сгорю! Плохие тени! Плохие! Очень плохие! Хотят убить меня! Не убьют! Я их убью! Вывусь – и убью!

Треск, скрежет.

Панцирь? Шлем? Мои кости?!

Я расширился стремительней, чем когда-либо в жизни. Я никак не мог расшириться, даже на пороге смерти. Меня распирала ярость – бешеная, помноженная на дикий ужас. Я бы лопнул, но Юрюна Уолана, безмозглого дурачка, жадину, падкую на коварные подарки, обманом заковали в трехслойный доспех. Броня давила, не пускала, не позволяла мне стать большим-пребольшим, смять орду теней в кулаке, ударить кузнецом в стену. Зачем я надел этот проклятый доспех? Зачем?! Я погубил себя!

Кажется, я кричал.

Выбирай!
Все испробуй и осмотри,
Что по нраву, то и бери!
Все примерь,
Наилучший из всех
По плечу избери доспех;
Все кольчуги перетряси,
Ту, что выберешь, и носи!

Голову обожгло пламя. Плечи. Живот. Бедро. Ступни. Пальцы. Сверху огонь. Снизу. Вокруг, везде. Больно. Больно! Очень больно! Лицо горит. Щеки. Губы. Нос. Глаза! Мои глаза! Кипят, лопаются. Закрыть!.. Не могу. Вырваться! Не могу. Пахнет! Жареным пахнет! Меня жарят. Мной пахнет. Больно! Убью! Вывусь, убью!

– Аыыrrrr! Гхх...

Слова сгорели. Осталось рычание.

Меня выдернули из горна. Бросили на наковальню. Чем я видел, как я видел – не знаю. Спросите лучше, почему я еще жил. Из тьмы выметнулся утес, насаженный на ствол сосны, рухнул мне на грудь. Доспех промялся, грудина страшно хрустнула. Я и не знал, что боль бывает такая разная. Я и не знал, что бывает такая боль. А что я вообще знал?

Молот, сказала боль. Это молот.
– Мастер Кытай! Что вы...
Молот рухнул снова. И опять.
И еще.

Выносите
Сверкающий серебром
Щит боевой!
Меч несите
Длинный, прямой,
Наилучший среди мечей...

Удары сыпались градом. Доспех, оружие, щит, лук – всё вминалось в исковерканное тело. Меня вертели, как хотели – набок, на спину, на живот, на другой бок. Били, плющили, уродовали. Все страхи, хрипел я. Все ужасы. Все байки про Кузню – детский лепет. Тот, кто вернулся, молчит. Тот, кто не вернулся, молчит. Болтают те, кто здесь не был. Знай они правду, откусили бы себе языки. Мюльдюн! Вот почему ты молчал, брат мой! Я нравлюсь тебе, сильный? Я, калека, урод с кусками металла, торчащими из тела?!

Поднимают. Несут.

Опять в горн?!

Огонь только меня и дожидался. Обхватил, сдавил в объятьях, гудя от радости. Я неудачно вдохнул, и пламя ворвалось в грудь, заполнило ее до отказа. Проникло в каждую жилку, растеклось по телу. Меня жгло снаружи и изнутри. Доспех плавился, шипела и обугливалась кожа, становясь с броней одним целым – не отдерешь. Наверное, если не вырываться – умрешь быстрее. Хочу умереть. Хочу умереть. Очень хочу умереть.

Почему я вырываюсь?

Наковальня. Молот. Вдвое больше предыдущего. Он падал и падал, медленно, как во сне. Хотел, чтобы я мучился подольше. Целил мне в лоб. Я зашелся в беззвучном вопле. Истерзанная плоть еще сопротивлялась. Меня сотрясала отчаянная дрожь, мышцы рвались в запретном усилии. Кости выворачивались из суставов. А молот всё падал. Сейчас голова Юрюна Уолана превратится в кровавую кашу. Каша с мозгами. С телячьими мозгами. Люблю такую...

Молот рухнул.

Я умер.

Мастер Кытай продолжил ковать.

6. Живые и мертвые

«Что, сильный?» – спросил мертвый Омогой.

Ничего, ответил мертвый я. Как-то так.

«Нравится?»

Еще не знаю. Пожалуй, нет.

«Вот ты умер, – рассудил мертвый Омогой. После смерти он стал мудрее, спокойней и вообще приятней. – Тебя похоронят.»

Где, заинтересовался мертвый я.

«Здесь и похоронят – не домой же везти? Лето сейчас, жара. Не довезут, протухнешь. Ты не бойся, Кытай Бахсы хоронить умеет. Первый ты у него, что ли? Короче, ляжешь ты в могилу. Одна душа – туда, другая – сюда, третья – не пойми куда. Помнишь? Родится после у твоих мамы с папой новый сын. Мальчик. Ему тоже, небось, не станут рассказывать: был, мол, у тебя старший брат, да весь вышел. Убили его, никчемного. В Кузне, при перековке. Зачем

такое рассказывать? Только настроение портить. Старший брат-боотур – это приятно, почетно. Хочется идти следом. Равняться на него. А старший брат-недоделок? Лучше и не знать...»

Обидно, вздохнул мертвый я.

«Почему?»

Лучше, когда знают. Помнят. Жалеют.

«Почему лучше?!»

Ну, все-таки семья.

«Семья? Подрастет твой младший брат, поедет в Кузню. И будет на каждом шагу думать: вот Мюльдун-бёгё пережил Кузню, а Юрюн-тобук²⁰ не пережил... А я? Я переживу? Или нет?! Испортишь ты ему дорогу. Не о всяких братьях надо знать, парень. Иные способны изломать тебе весь путь, сколько там его отмерено. Хорошо, ты умер. Зато по дороге сюда ты был счастлив. Оружие выбирал – счастливый. Уже кое-что, правда? Неужели ты не хочешь, чтобы твой младший брат...»

Нет у меня никакого младшего брата. Заткнись!

«Что ты на меня-то окрысился? Я все-таки постарше тебя буду – и как живой, и как мертвый. У меня опыт. Старших надо чтить. Старших надо уважать. Вот ты Мюльдюна чтить? Папу? Маму?»

Чту, согласился мертвый я. Уважаю. У них опыт, они мне ничего не сказали про старшего брата-недоделка. Я ехал в Кузню счастливый. Оружие выбирал – счастливый. Я только умер несчастный, но тут они ни при чем. И знаешь что, Омогой? Я сейчас уважаю их меньше, чем раньше. Чту меньше. Люблю по-прежнему, но любви не прикажешь. А почтение, уважение... Меньше, да. Гораздо меньше. Мне стыдно, но это так.

«Полагаешь, они должны были тебе всё сказать? Про брата?»

Наверное, да.

«Перед отъездом в Кузню?!»

Да.

«Ну, парень, ты даешь! И ты бы ехал несчастный? Несчастный, выбирал оружие?»

Зато я умер бы счастливый. Я знал бы, что не один такой.

«Ты же знал! Тебе говорили, что из Кузни не возвращаются!»

Говорили. Одно дело, когда не возвращается кто-то. И совсем другое дело, когда не вернулся твой родной старший брат. Кровь от крови, плоть от плоти. Так ты не одинок в жизни, потому что есть Мюльдун, и в смерти тоже, потому что был он, который не вернулся.

«А с чего ты решил, – спросил мертвый Омогой, – что он не вернулся? Тот, который старший?»

Ну, я же не вернулся.

«А с чего ты решил, что ты не вернулся?»

* * *

– Пить...

– Вот, пей...

Вода. Чистая. Прохладная.

Мало.

– Еще...

– Нельзя.

– Еще!

²⁰ Тобук – колено. Как брань, адекватно русскому «задница» или даже грубее. В переносном смысле – «облом».

Расширяюсь. Хочу пить. Хочу пить. Очень хочу пить. Стану большим, отберу всю воду. Напьюсь. Нет, не расширяюсь. Усыхаю. Нет сил. Нет воды. Ничего нет.

– Капельку...

– Куо-Куо смочит тебе губы. Больше нельзя.

Кто?!

Будь у меня хоть чуточку силенок, подскочил бы на лежаке. А так всего лишь открыл глаза. Измучился! Словно не веки поднимал, а гору Чочур-Мыран. Сарын-тойон, слепой зрячий – вот кто меня понял бы, с его глазами-то!

Дочь кузнеца сидит рядом, прямо на полу, поджав под себя ноги. В руке она держит глиняную чашку с водой. Влажной тряпицей касается моих губ. Пальцами выжимает сладкую благодать. Пара капель упали мне на язык. Уруй-уруй! Я с благодарностью проглотил, что досталось, и понял, что погиб. Вначале я, оказывается, не совсем погиб, а теперь совсем.

Кинется она на меня, что делать стану? Как отобьюсь?

«Жених! Станем вместе спать, детей рожать!» Я опять зажмурился, чтобы не так страшно было, а в ушах звенит-гремит: «Красавец мой! Суженый-ряженный!» Ну что я за неудачник?! Нет, прав Омогой: родится у меня младший брат, лучше ему про меня не рассказывать.

– Ты окрепнешь, и Куо-Куо даст тебе еще воды...

Окрепну, подумал я, и первым делом вооружусь. Не всегда же Кытай Бахсы будет меня от дочки защищать! Вот сейчас, например, не торопится. Кует себе, подлец, и в ус не дует.

– Ты вспотел. Тебя надо вытереть.

Вместо чашки – миска. Другая тряпица, побольше. От миски тянет кисленьким. Я чихаю, чуть не порвавшись на лоскутки. Кузнецова дочка тихонько смеется, откидывает покрывало, сшитое из оленьих шкур, начинает возить по мне тряпкой. Мамочки, я же голый! Она же... Страхи бродят вокруг, охают-ахают, но я не слышу. Я засыпаю. Проваливаюсь в пуховую груду, в кучу палых листьев.

Мне уже все равно.

7. Наглая я скотина

– Так надо было, – сказал Мюльдюн.

Я кивнул.

– Надо, понял?

Я кивнул еще раз.

– Скажи я тебе правду, – Мюльдюн почесал кончик носа. Ну точно Кустур в минуты задумчивости! Кажется, мои кивки его не убедили, – я бы тебя убил. Ты бы ехал живой, а на самом деле мертвый. Соображаешь? Нельзя знать заранее. Ты тогда и выбираешь не так, и боишься не так, и вообще.

– Ты чего? – удивился я. – Ты просишь прощения?

Если я удивился, то Мюльдюн изумился. Впервые в жизни я видел, как брови моего старшего брата ползут на лоб, а рот приоткрывается, словно у годовалого ребенка, взявшего в руки потрясающую шутовину неизвестного назначения.

– Прошу прощения?

– Ну да...

– У тебя?

– Ну да...

– Я?!

– Ага, ты.

– Наглая ты скотина, – ласково уведомил меня Мюльдюн. Он на глазах превращался в записного острослова, считай, сказителя. Такой готов обложить избранную жертву,

как новенькую юрту, сверху донизу: и корой, и дерном, и коровьим навозом. – Прохвост. Позор семьи. За что я прошу у тебя прощения?!

– За то, что не мог предупредить меня заранее.

Он сдвинул шапку на затылок:

– Ничего я не прошу, понял? Я предупреждаю тебя. Сейчас, когда я имею право это сделать. Однажды ты повезешь маленького засранца-боотура в Кузню, вот я и предупреждаю: молчи! Если, конечно, тебе не захочется прикончить спутника своим рассказом. Есть такие яды, братец – проглотил сегодня, а умер завтра.

– И такое бывает?

– Всякое бывает.

Я зажмурился. Представил: везу в Кузню боотура-малыша. Трюх-трюх, качаемся в седлах, глазеем по сторонам. Не бойся, говорю я ему. Тебя схватят клещами, сунут в горн, дадут молотом по башке. А ты не бойся! Главное, потерпеть, и все будет хорошо. Очухаешься, встанешь на ноги; вырастешь лихим молодцом. Он едет, не боится. Ну, то есть боится, но совсем иначе. Когда знаешь, что тебя ждет, что главное – потерпеть, боишься по-другому. Он едет, а я его уже похоронил. Живого в землю закопал. Воткнул сто слов, как сто ножей, под ребра. И еду рядышком, улыбаюсь. На привалах делюсь едой, водой. Дохой укутываю, чтоб не замерз.

– Тебя Ала Дяргыстай этому научил? – спросил я.

– Да.

– Когда ты после Кузни пластом лежал?

– Да.

– Он – тебя, а ты – меня?

– Да. А ты – следующего. Так принято.

– А если всё делать по правилам, – мне вспомнился отец. Веранда, ноги на перилах, чорон с кумысом, – по обычаю, то мы остаемся живы? После Кузни, да?

– Не все. Но большей частью – да, живы.

– Хорошо. Я запомнил.

Он встал:

– Я уеду дней на пять. Может, семь. Жди меня здесь, выздоравливай.

– А мастер Кытай знает?

– Знает.

И вышел прочь.

А я остался. А что? Обычное дело. Мне не то что ходить – сидеть не вмоготу. Посижу капельку, и сползаю, лежу пластом. Вчера и сесть не мог. Хорошо хоть, один-одинешенек валяюсь, не так стыдно. Куо-Куо забегает по сто раз на дно. Кормит, поит, моет. Скажете: хорош врать, парень! Как один, когда Куо-Куо? Она не в счет, к ней я привык. Если бы не привык, со стыда бы сгорел, клянусь. Она мне горшок подставляет, на бок меня укладывает, и я с лежака в этот горшок... Ну, вы поняли. Горшок красивый, из цельного куска березы. По краю – завитушки. А я целюсь, значит, боюсь промахнуться. Боотур! Ворону в глаз бью, что мне горшок! Если по большой нужде приспичит, так я на спине, а она под меня берестяной туесок подсовывает. Вот я и успокаиваю себя: мол, привык, ничего особенного. Уже и забыл, как шальная девка меня в конюшне валяла, в штаны лезла. Сейчас в штаны залезет, подсобит облегчиться – и спасибо за хлопоты, век помнить будем!

По-моему, я у нее не первый. Ну, не первый боотур, за которым она ходит. Сколько же ей лет, а? Я утром хотел у неё спросить: ты что, и за Мюльдюном ухаживала? Так хотел, что аж зудело! И промолчал, застенялся. У Мюльдюна тоже не спросил. Даст он мне по шее вместо ответа, и правильно сделает.

– Юрюн Уолан спит?

– Не сплю я. Заходи, Куо-Куо.

– Куо-Куо супу принесла. Кормить будет...

Суп – это кстати. Ем я, как не в себя. Набил брюхо, поспал чуточку, и опять слюнки текут. Сначала думал: мастер Кытай мне для лежки особую комнату выделил. Комнат в доме тьма-тьмушая, почему не выделить? Сегодня огляделся на свежую голову: какая там комната?! Ураса – летняя юрта. Гостевая, за домом стоит. Вроде срамного туюеса, который для моей большой нужды – берестой крыта, конским волосом сшита. Ох, сравнения у меня... Болею я, извините. Соображаю плохо. Хорошая ураса, если вы не поняли. Просторная. Стены отваром ольховой коры выкрашены. По стенам – пять окошек. Дверь – занавес, расшит узорами. Вдоль стен – нары-лежаки. Посередке – очаг, еле теплится. Лето, чего зря дрова жечь? Над очагом – дымоход. Вокруг очага – столбцы для котлов, вертелов. Воздух чистый, свежий. Меня, помню, родители отпускали к Кустуру переночевать – ну, в Тимирову семью! – так в ихней урасе вечно воняло. И шкурами, и людьми, и обедками. А еще к урасе примыкал коровник, и тоже не делал воздух ароматней...

Да что тут сравнивать? Дядя Тимир, аласный кузнец, и Кытай Бахсы, кователь боотуров – не может у них вонять одинаково!

А вот и он, кователь боотуров. Проведать зашел.

– Выйди! – это он дочери.

– А суп? – это я ему. – Суп же!

– Успеется суп. Дай-ка я тебя...

8. Наглая я скотина (продолжение)

Покрывало – фью-ю-рх! Улетело. Подушка – шмяк! Убежала. Он меня на живот – р-раз! Как пушинку. Голову в ладони взял – я думал, шею свернет. Нет, просто набок повернул – чтоб не лицом в лежак, а ухом.

Встал на колени у лежака:

– Расслабься.

Ага, расслабься! Я расслаблюсь, а ты меня клещами – хвать! Молотком – шарах! Суп выльешь, миску к копчику прикуешь. Знаем мы ваши шуточки!

– Мастер Кытай...

– Молчи.

Молчать не удалось. Я стонал, кряхтел, охал. Железные пальцы копались во мне, перебирали каждую жилочку. Вzbивали Юрюна Уолана горкой лебяжьего пуха. Толкли в ореховую кашу. Рубили в рыбную начинку. Мяли, выдавливали сок. Извлекали сочный хруст из позвонков, треск из суставов. Кровь бултыхалась во мне от увесистых шлепков.

– Ой! Ай! Уй!

– А здесь?

– Ы-ы-ы...

– Очень хорошо.

Куо-Куо сидела в углу на корточках. Радовалась моим истязаниям. Ну, в углу – это я для красного словца. Ураса-то круглая! А радовалась – это точно. «Айхал²¹! – вскрикивала шепотом. – Айхал!» Почему шепотом? Отца боялась, наверное. Выгонит, или на крюк подвесит. Я ведь помню, он ей обещал крюк. Тогда, в конюшне, я ему не поверил. Думал, грозит для пушей острастки. А может, шутит.

Теперь верю. Ы-ы-ы!..

Превратив меня в холмик рыхлой земли, кузнец уgomонился. Придвинул табурет, сел. Огромный, корявый, затряс ручищами. Мне даже померещилось, что с пальцев Кытая Бахсы

²¹ «О, какая радость!» Возглас благопожелания, выражения радости по какому-либо случаю.

летят сверкающие капли – вода, а может, расплав. Я вжал затылок в плечи: сейчас, вот сейчас обожгут! Огнем или холодом, но обожгут!

Ничего, обошлось.

– Годится, – буркнул мастер Кытай.

Так говорят о рядовом топоре, вышедшем из-под молота.

– Завтра встанешь. Все, отдыхай.

Уйдет, догадался я. Уже уходит. Интерес кузнеца ко мне стремительно угасал. И тут – хотите, верьте, хотите, нет – я понял, что сделаю, и ужаснулся. Я, сопляк-желторотик. Я, чудом выбравшийся живым из горна. Я рискну объехать на кривой самого Кытая Бахсы? Мне что, последний умишко огнем выжгло?!

– Ну да, – сказал я. – Ну да, конечно.

– Что – ну да?

– Ну да, говорю. Я бы на вашем месте тоже расстраивался.

Кузнец хотел встать, но раздумал.

– Ты? На моем месте?

– Ну да...

– И с чего бы это ты расстроился?

– Вы же не меня хотели. Ну, в работу взять. Вы брата моего хотели...

Мастер Кытай не был воробьей. Да и я валялся на лежаке без лука. Лицом к стенке, спиной к кузнецу. И всё равно сердце ёкнуло: дружок, ты ему в глаз всадил! В самую зеницу. Без промаха.

– Хотел, – признал кузнец.

Чувствовалось, что это у него больная тема.

– Я что? Обычное дело. А вот мой брат...

– Твой брат – это да. Ты, я вижу, парнишка смывленный. Чуешь, где настоящая работа! Такая работа в жизни один раз случается. Я, знаешь ли, ночью сплю и вижу...

Он заворочался. Должно быть, показывал, как он спит и что видит.

Я ждал, боясь спугнуть. Вспоминал: мы с Мюльдюном подъезжаем к Кузне, нам навстречу бежит черный адьярай. Бежит, радуется; подбегает и скидает вчерашним молоком. «Это брат, что ли? Разве ж это брат?!» И еще: «Мне доложили, ты брата везешь. Я обрадовался. Думаю, наконец-то!..» Весь разговор – при мне, не стесняясь. Ты ведь знал про моего загадочного брата, мастер Кытай! Ты знал, что Мюльдюн знает! Ты только не знал, что не знаю я, и знать мне не надо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.